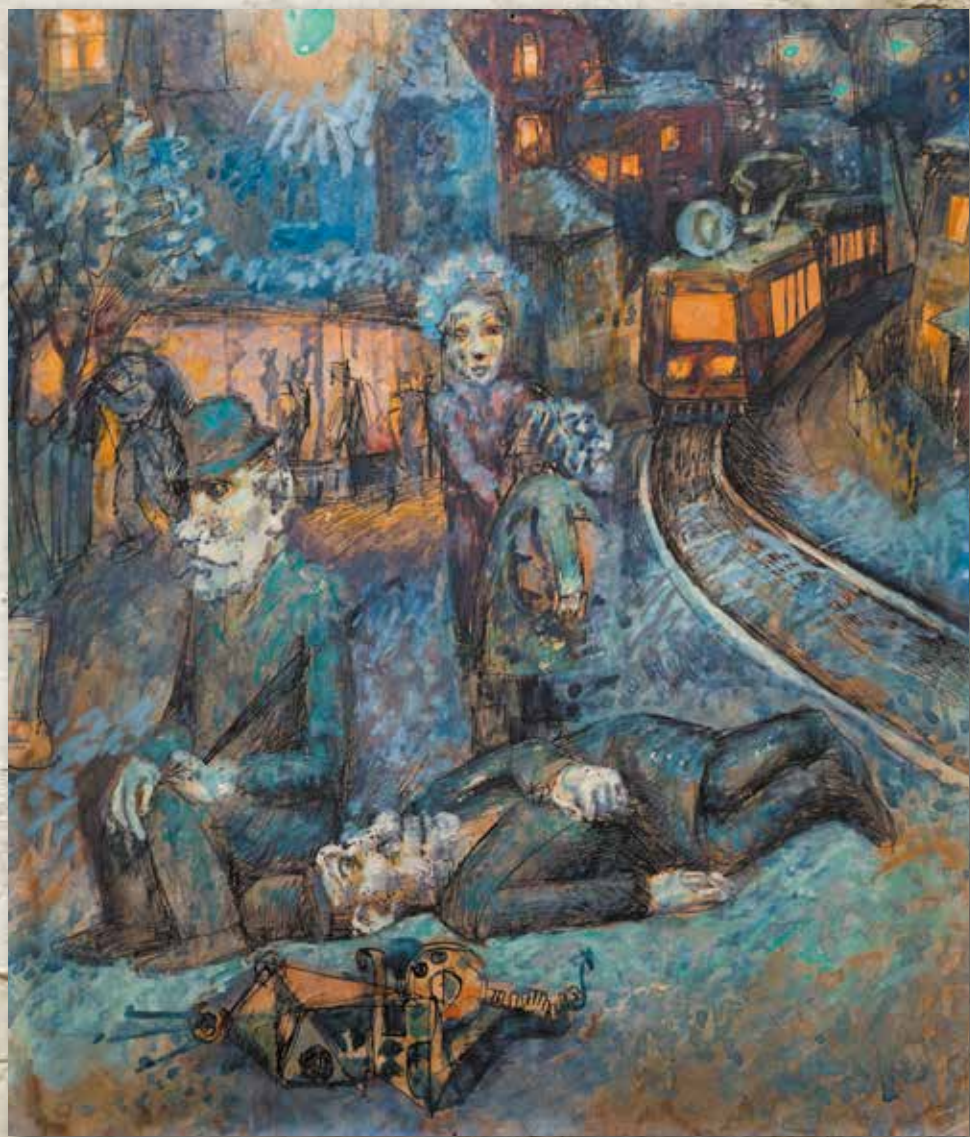


Юрий Мамлеев

Московский гамбит







Юрий Мамлеев

Московский гамбит



МОСКВА
2016

МОЕЙ ЖЕНЕ МАРИИ
ПОСВЯЩАЮ ЭТОТ РОМАН...





УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6
М22

Юрий Мамлеев
Московский гамбит

РОМАН

М.: – Издательская группа Традиция, 2016. – 296 с.: илл.

ISBN 978-5-9905747-5-5

Юрий Витальевич Мамлеев (1931–2015) – признанный классик современной русской литературы, основоположник жанра «метафизический реализм», писатель, поэт, философ.

Роман «Московский гамбит» – одновременно блистательное описание тайной, подспудной жизни в Советском Союзе в 1960–70-е годы и художественное изложение метафизических идей.

Книга иллюстрирована живописью и графикой всемирно известных русских художников-визионеров, в разное время имевших непосредственное отношение к эзотерическому салону Ю.В. Мамлеева на Южинском.

Данное издание является наиболее точной и полной версией произведения, с авторским дополнением в эпилоге.

ИЛЛЮСТРАЦИИ: Евгений Головин, Анатолий Зверев,
Владимир Ковенацкий, Эдуард Курочкин, Николай Мануйлов,
Владимир Пятницкий, Борис Свешников, Василий Ситников,
Алексей Смирнов (фон Раух), Владимир Титов,
Александр Харитонов, Владимир Яковлев

© Юрий Мамлеев
© Андрей Степанов, предисловие
© Евгения Бубер, оформление
© Издательская группа «Традиция»

Слово издателя

ДОРОГОЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Издательская группа «Традиция» представляет памятное издание книги, значение которой превосходит ее содержание. Как и много лет назад в Южинском переулке, мамлеевская проза снова соединила разных людей. «Традиция» благодарит их за своевременные жертвы и изящные ходы при подготовке данного издания.

Но мое слово не о творении, а о его творце – о Юрии Витальевиче Мамлееве. Этот человек родился в советской Москве, вырос и состоялся на просторах «другой Москвы» и завершил свой путь в Москве, его признавшей.

Его вера в Россию была запредельно-сотериологической. Он мог часами рассуждать об «Абсолюте и Великом Ничто», о «запредельности и Бездне», но его мысль всегда возвращалась к сотворенному пути спасения – к России Вечной.

Я смотрел в его немного «отключенные» глаза, слушал неторопливые рассуждения по разным «потусторонним» вопросам и –

верил, что есть Россия Вечная в его мамлеевской интонации,
верил, что существует другая Москва в ее гротескно-реальном изображении,
верил, что наступит спасенное Россией светлое завтра.

Жертва принята, мамлеевская партия завершена, остался лишь один вопрос: спасемся ли? Ответ на него, дорогой читатель, «ты увидишь Там, в пламени Вечности. А пока ты не можешь этого сделать, ... защищай на земле то, что ты любишь.» (Ю.В. Мамлеев).

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ТРАДИЦИЯ»
ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПОМОЩЬ В РАБОТЕ НАД КНИГОЙ

Аркадию Агапкину
Михаилу Алшибая
Елене Головиной
Норе Григорьевой-Ковенацкой
Игорю Дудинскому
Сергею Жигалкину
Валерию Инюшину
Татьяне Козловой
Николаю Котрелеву
Александрю Кронику
Марии Мамлеевой
Николаю Мануйлову
Владимиру Орлову
Игорю Пальмину
Юрию Пятницкому
Тимофею Решетову
Надежде Смирновой
Владимиру Сычеву
Игорю Чернышову

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА ИЗЯЩНЫЕ ХОДЫ
Тенгизу Тартарашвили

Предисловие

Я, обретший бессмертие, уйду в ночь.

Загадка Александра Третьякова

Современному читателю для лучшего восприятия романа Юрия Витальевича Мамлеева «Московский гамбит» будет нелишним соотнести в сознании несколько значимых моментов.

Время, эпоха и место. Роман «Московский гамбит» был написан в 1981–83 годах в эмиграции; действие романа обозначено семидесятыми годами прошлого века, при этом реальные события, художественно описанные в произведении, происходили в основном в середине шестидесятых.

Эта эпоха была для жителей СССР во многих отношениях уникальным временем. «В тот период, – писал Юрий Витальевич Мамлеев, – когда на поверхности бушевали советско-антисоветские страсти, захватывая в свой круг писателей, поэтов, даже художников чисто социального плана, одновременно творилась в полуподполье «неофициальная культура». Она уходила своими корнями в русскую классику Серебряного века, который, кстати, дал России величайших поэтов и писателей XX века (от Блока до прозы Андрея Белого, Ремизова, Сологуба и Леонида Андреева). Период этот, как известно, образовал фактически Периклов век русской культуры, одной из сторон которой были мистические влияния и прозрения, углубление в последние уровни человеческого бытия, неутоленная вера, философские поиски. И именно эти традиции пыталась возродить та «неофициальная культура»,

которая концентрировалась вокруг Южинского переуллка¹ в Москве и некоторых других центров поэзии, литературы и метафизики.

Наша история, связанная с Южинским переулком, началась во времена господства тупого атеизма. Первой нашей целью было восстановление связи с Традицией и попытка ее творческого переосмысления. Почему именно так? Я называл наше тогдашнее состояние «купанием в Ничто». Поскольку все связи с Традицией были оборваны, мы не полагались только на связи с прошлым, даже в духовном плане. Шок от нашей онтологической ситуации был настолько сильным, что возникло стремление самим переосмыслить все, что было в духовных учениях прошлого. Мы чувствовали: что-то не так, должно существовать и нечто, скрытое от предшествующей исторической мировой Традиции. Что-то было закрыто для взора и обнажилось только сейчас. Наибольшее значение придавалось искусству. Ведь это та наиболее свободная зона, где на деле осуществляется полная автономность. На Южинском было много разных людей, многие из которых стали впоследствии известными художниками, как Зверев и Харитонов, поэтами, как Губанов. Под воздействием этой духовной атмосферы многие принимали крещение. Многие искания шли по линии мировых духовных традиций, в подоснове которых нам виделась единая мудрость, которая в значительной степени объединяет основные истины аутентичных традиций. Искали самые глубинные основы – то, что содержалось в писаниях Майстера Экхарта, Климента Александрийского, в Веданте и Адвайта-Веданте. Это исключало профанические рериховские и блаватские интерпретации Востока. Каждый из нас занимался

¹ В коммунальной квартире в Южинском переулке, где регулярно собирались неконформисты, в то время жил Ю.В. Мамлеев; это – прообраз места, где происходит действие первых двух глав романа.

своей специальной духовной доктриной, но вместе с тем у всех было нечто общее, часто даже неосознанное. Каждый действовал в пределах своего мира. Нас объединяла сама радикальная ситуация, в которой мы оказались. Все мы находились в условиях атеистического гроба и это придавало нашим исканиям особый оттенок метафизического радикализма. Такое случается, когда человек оказывается в тюрьме. Мы хотели прорваться дальше, не порывая с Традицией, продолжать ее в другом плане и пытаться соединить «несоединимое».

Жить только узко-материальными, повседневными интересами, целиком подчиняя себя низшим инстинктам и плоскому рационализму (как бы не было это распространено в современном мире) – противоречит подлинной природе человека, его стремлению понять самого себя, его внутреннему несогласию с собственной «смертностью» и ничтожеством. Все это и предопределило такой интерес к духовной жизни в Советском Союзе, хотя даже читать о вечном, о Боге, о бессмертии души, о Высшем Я тогда могло быть наказуемо, не говоря уже о том, чтобы писать об этом.

Несомненно, главной причиной возникновения подобных движений в СССР явилась духовная жажда – черта, глубоко присущая человеку вообще и к тому же неотделимая от русской традиции. Как говорил Юрий Витальевич, «метафизическую основу России составляет стремление к запредельному, к бесконечному. Неутоленность веры. И это стремление образует очень мощную метафизическую реальность. Даже чудовищная сила советского режима, запретившая свободу, не смогла победить Россию Вечную и русскую душу».

В основе той культуры – не только переоценка и переосмысление религиозно-метафизических традиций прошлого, но и страстное желание выйти за пределы ординарного человеческого сознания, которое ощущалось как тюрьма, как тирания псевдореальности, независимо от того, какую

она принимала форму: застывших ли духовных «догм» прошлого, приниженных человеческим сознанием, или форму обыденной рутины, внутренней и внешней. Широкий же спектр духовных интересов объясняется прежде всего тем, что ищущие стремились найти ответы на действительно глобальные, всеохватывающие или мистические вопросы, ответ на которые невозможно найти в пределах одной традиции. И «Московский гамбит» – одно из немногих произведений русской литературы, которое в художественной форме рассказывает об этих поисках.

Прообразы героев книги – реальные люди, в том числе и сам автор. Книга иллюстрирована работами художников, многие из которых сами являются прообразами героев романа – и более того, в их картинах также можно встретить многих «срисованных с метафизической природы» персонажей «Московского гамбита».

В то же время каждое творение Ю.В. Мамлеева – основоположника литературного жанра «метафизический реализм» – всегда связано с изложением определенных метафизических идей. Прочтение романа «Московский гамбит» безусловно необходимо для понимания и усвоения основных философских работ Юрия Витальевича: «Судьба Бытия» (особенно это касается главы «Последняя доктрина», непосредственно связанной с загадкой Александра Трепетова) и «Россия Вечная». В творческом же смысле «Московский гамбит» стал как бы связующим звеном между двумя этими трудами.

В завершение – о названии романа. Гамбит – это жертва, гамбит – это всегда жертва вещественного ради неосвязаемого, качества ради темпа, скорости, прорыва; это жертвование материального во имя духовного. Определение же «московский» связано не только с обозначением места действия, но и с великой формулой «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать». В метафизическом смысле «московский гамбит»

разыгрывается на вселенской сцене каждый день и будет разыгрываться до конца времен.

Замысел данного издания романа «Московский гамбит» возник в ходе совместной работы с Юрием Витальевичем Мамлеевым над сборником стихов и прозы «Невиданная Быль» – последней прижизненной публикацией писателя². Текст книги был исправлен и проработан; автор также дополнил эпилог романа. Таким образом, здесь представлена наиболее точная и полная версия произведения.

Но прежде всего настоящее издание «Московского гамбита» – это гимн «кругу Южинского переулка» и всем его участникам, это благодарность и подтверждение тому мощнейшему лучу духовного и творческого поиска, который не угасает и поныне. Желаем читателям увлекательного и преобразующего путешествия по тайной Москве – столице метафизической России!

Андрей Степанов

² Ю.В. Мамлеев. Невиданная Быль. – Серия «Метафизическая поэзия». – М.: Издательская группа «Традиция», 2014.



Владимир Пятницкий | Всемирный потоп | 1960-70-е годы

Глава первая

Москва нежилась, древнела, отдыхала и успокаивалась в лучах еще не заходящего вечернего солнца. Стояло лето 197... года, и небо над Москвой было таким бездонно-чистым и открытым, как будто в мире наступало какое-то сверхъестественно безмятежное время.

Спирidonьевский переулок, что затерялся в бесконечных улочках между Пушкинской и Никитской площадью, тоже был покоен, солнечен и чист. Одинокие прохожие – многие москвичи уже разъехались по дачам, была суббота – только подчеркивали высшую пустынную и уютность улиц. Иногда из какой-нибудь булочной выскакивала осторожливая старушка с буханкой белого хлеба в руке, да лениво позевывал на своем посту милиционер... Но по мере того, как темнело, некоторая тревожность, как всегда, входила в улицы и переулки. Впрочем, довольно благая тревожность. Точно тьма таила в себе пробуждение...

Дом №3 по Спирidonьевскому переулку – двухэтажный, желтовато-белый, – сохранился еще с конца прошлого века. Широкая парадная лестница вела в квартиры с длинными узкими коридорами, по бокам которых размещались комнаты жильцов. В конце одного коридора, выходящего в глубокий и покойный сад, приютились две смежные комнатки, которые принадлежали Олегу Сабурову – знаменитому подпольному неконформистскому поэту Москвы. В этот вечер Олег сидел у себя со своим давним другом Борисом Берковым в томительном и немного странном ожидании. Мебель в комнатах была вовлекающая в себя, старинная, и друзья расположились в высоких вольтеровских креслах, покуривая и распивая пиво. Иногда из сада под окном раздавался какой-нибудь причудливо-нездешний голосок, и сразу замирал.

– Придет или не придет, вот в чем вопрос, – мрачно повторял Борис.

Был он низенького роста, с внимательным, даже пронизывающим взглядом и с выражением на лице скрыто-одухотворенным. Олег же внешне являл собой полную противоположность: пышный, красивый, со стремительными движениями, вдохновенным лицом и печальным, но властным взглядом. Чувствовалось, что он избалован женщинами, хотя это внутренне не коснулось его. Обоим друзьям было под тридцать.

– Я почему-то боюсь, что он не придет, – глухо ответил Олег.

Стало тихо в комнате, когда где-то – словно из несуществующего подпола – болезненно мяукнула кошка.

– И что же будет, если он не придет?

– Тогда будет то, что было, – продолжал Олег. – А мне так хочется многое изменить!

– Почему, Олег? Что с тобой?

– О, Боря, ты же знаешь меня. Да, конечно, я хочу того, чего всегда хотел: славы, самоутверждения и... бессмертия.

– Ты сама скромность, Олег.

Сабуров засмеялся, неожиданно изменившись в лице.

– Да. Но, Боря, иногда я вдруг, среди дня, отключаюсь и смотрю застывшим взглядом в одну точку, как будто что-то, самое жуткое и тайное, я упустил... А потом – бессмертие. Я ведь говорю не только о творческом, но и том... абсолютном бессмертии. И это мучает меня. Что-то во мне надорвалось. Может быть, потому что я болел, но, скорее, не в этом дело. Я чувствую, что мы, люди, находимся в совершенно невыносимой ситуации: с одной стороны жизнь сама по себе, сознание, самобытие – так прекрасны, и так хочется, чтобы это всегда было, но с другой стороны жизнь чудовищно, издевательски коротка и безобразна... и что после? Если не владеть ключами жизни и смерти, то лучше не жить. Если бессмертие существует, то я хочу сейчас, именно сейчас, стать свидетелем

лем своего собственного бессмертия, а не просто верить в него! Соприкоснуться с ним практически! Если же это невозможно, и все покрыто непостижимым мраком, то хотя бы продлить, продлить жизнь, за ее обычные сроки, любимыми средствами, в том числе и почти сверхъестественными. Говорят, теперь много появляется намеков на такую возможность. Тогда и шансы на абсолютную разгадку будут выше. Но я чувствую жажду сохранить и спасти себя. И поэтому боюсь, что он не придет. Не придет, как не встают мертвые из гроба.

- Ну, что за сравнение!

- А, это к слову! Но видишь ли, я ничего не преувеличиваю. Я знаю из верных источников, что этот тайный человек существует. Кто он? Маг, исцелитель, алхимик – не знаю. Но он обладает какой-то огромной силой, и главное, совершенно необычной, не встречающейся почти в истории людей. Как тебе сказать? Необычной в смысле ее направленности и сути. Так оценивают это те, которым я доверяю. Нет, не маг, не исцелитель, это слишком банально, хотя, может быть, он и делает мимоходом все эти пустяки. Это что-то другое, совсем другое! Мне сказали, что лучше всего его назвать «алхимиком», хотя то, что он делает, может быть, к алхимии никакого отношения не имеет. Но случилось так, что мой приятель, через которого я кое-что знаю, уже больше никогда не увидит этого тайного человека. Здесь все кончено. Но он назвал Сашу Трепетова, сказав, что Саша действительно близок к нему. И вдруг теперь Трепетов обращается к нам...

- Но не сам этот человек...

- Но ведь Саша с ним в контакте, и придет от его имени...

- Что тебе Трепетов точно сказал?

- Что я, ты и Леша выбраны. И чтоб больше никого не впутывать в это дело.

- А много ли людей в Москве вообще слышали об этом тайном человеке?

– В основном только очень узкие круги. Но так получилось, что вся эзотерическая Москва содрогнулась...

– Что же можно такое сотворить, чтобы даже эзотерическая Москва содрогнулась? – пробормотал Берков и тихонечко себе, спокойно закурил новую сигарету.

Опять настойчиво и беспомощно мяукнула сиротливая кошечка, оказавшаяся под кроватью. Она была бездомная, и угол под кроватью поэта был только временным убежищем для нее. Откуда-то из коммунальной кухни донесся нелепый звон кастрюль.

– И ты по ряду признаков думаешь, что этот человек владеет, так сказать, ключами жизни и смерти? – добавил Берков, неуютно взглянув приятелю прямо в лицо.

– О, Боря, Боря! – Олег даже вскочил с кресла. – Не думай, что я такой уж подлый, законченный эгоцентрист! Хотя, конечно, как я говорил, это, мягко выражаясь, не последнее, что интересует меня... Нет, понимаешь, есть нечто большее, что меня влечет... Я ведь ничего не знаю, тут какое-то притяжение, что-то странное, великое и реальное...

– Да, самое интересное в этом деле, – прервал Борис, – его подлинность. А подлинность в таких вещах нельзя пропускать. Я и согласился на все это только потому, что слышал кое-что крайне любопытное об этом человеке от серьезных людей.

– То-то и оно! И не упрекай меня...

Но тут раздались истерические шесть звонков в дверь этой коммунальной квартиры. В ответ в стороне, на кухне, упала чья-то кастрюля, может быть, вывалилась из руки хозяйки.

– А это к нам идут, – улыбнулся Боря.

– Пойду открывать, – озаботился Олег.

Через минуту-другую он вернулся.

– Конечно, Закаулов, – радостно объявил он.

– Ну, значит, все в сборе, не хватает только главного, Саши Трепетова, – вздохнул Боря. – Ну, входи, Леха, входи!

И Леша Закаулов появился за спиной поэта. Олег захлопнул за ним дверь и запер ее на ключ. Леха, как всегда, был чуть-чуть пьян («Не удержался даже в такой момент», – подумал Берков), в помятой рубашке, но весел.

– Ребята, клянусь, не пил, зная, что иду в бездну, а не в пивную! – воскликнул он.

– Ну, если подходить с твоими мерками, то можно считать, что ты сегодня не пил, – проворчал Борис.

Леха уселся в третье вольтеровское кресло.

– Лешка в норме, – заметил Олег. – Он выпивши, но без перехода за грань...

– Для меня непонятно одно, господа, – заговорил Закаулов из глубины своего кресла, – зачем этот тип, Саша Трепетов, выбрал меня?! Понятно, что тебя, Олег, ты – поэт, языковтворец, избранник муз и богов, и что тебя, Борис, ты – подпольный интеллигент, философ... Но зачем этому тайному человеку я, я – Леха Закаулов, с моим метафизическим надрывом, песнями и пьянством?.. Мне бы улететь на Луну, а не лезть в ворота жизни и смерти. Я сюрреалист, черт побери, гуляка, и у меня сердце иногда рвется на части от любви.

– Наговорил! – захохотал Олег. – Ты, Леха, – поэт, только я пишу словами, а ты – своей жизнью...

– Спасибо, Олег. Утешил, – пробормотал Леша. – Если б не вы двое, я б, может, и не пошел к этому тайному человеку, да еще через посредника. Хотя, откровенно говоря, все это вдруг стало меня занимать по большому счету. Ну, в крайнем случае посмотрим на Сашу Трепетова – он и сам по себе легендарная личность.

– Саша ведь, – вставил Берков, – из самых скрытых слоев московского подполья. Глубже этого слоя, по-моему, уже ничего нет. Недаром он связан с этим тайным человеком...

– Хватит о нем, – вдруг прервал, чуть не вскрикнув, Олег, – об этом... алхимике. Здесь навечно столько, что го-

лова пойдет кругом. Хватит! Лучше поговорим о Саше. «Алхимик»-то появился недавно, и неизвестно откуда, точно с того света, а Трепетов уже столько лет крутится по глубинкам московским, он из нашего мира...

– Но из другого слоя, – поправил Борис. – Ты ведь даже не был с ним знаком до недавнего времени, а только слышал о нем...

– Это уж точно, что слышал! – захохотал из своего угла Леха Закаулов, ловко вынув из кармана уютную четвертинку чего-то крепкого и смочив им горло. – Я ведь тоже многое слышал...

Был Закаулов беспределен, лих, но временами – серьезен и мрачен в своем веселии. Было ему тоже под тридцать лет, и выглядел он, худой и голубоглазый, хоть и растерзанным, но с загадочной бравадой и отчаянностью. Любили его за широкие и необъяснимые метафизические высказывания во время пьянства.

– Так что же ты слышал о Саше? – спросил Борис.

– Станный он человек! – как-то по-трезвому оживившись, ответил Закаулов. – Хотя и я, конечно, не стандартен, что и говорить. Я ведь Трепетова видел давно, всего несколько раз, мельком. И мне трудно о нем говорить. Что-то неуловимое и непонятное в нем есть, во взгляде, даже собственно взгляда нет, а есть нечто большее... Нет, не могу сказать.

Он задумался и поставил четвертинку себе между ног.

– Кто хочет, наливайте, – пробормотал он. – Да, конечно, о нем много всяких легенд и побасенок ходит. Например, дескать, устроили ему с большим трудом частные уроки, итальянского, он же знает языки, для дочери какого-то академика. По высшему счету. Мол, известный человек, Бодлера, Рембо и Петрарку переводит, почитайте «Иностранную литературу». А потом в назначенный час раздается звонок в эдакую роскошную квартиру академика. Мамаша с дочкой умильно открывают: все-таки учитель, не кто-нибудь, а переводчик Петрарки.

И входит Трепетов. Два-три неуверенных шажка по импортному ковру и бац – падает. И блюет на ковер. Явился: учитель...

– Неплохо. Разрядил, разрядил ситуацию Лешка, – улыбнулся Берков.

– Или еще. – И Закаулов лихо отхлебнул из бутылки. – Приходит Трепетов в «Иностранную литературу» по поводу статьи о немецких поэтах-авангардистах. Туда-сюда. Присели на стулья в одном кабинете. Неожиданно входит важное начальство и о чем-то убежденно говорит. Вдруг Саша приподнимается со стула, молча берет пухлую руку начальника и намертво целует ее. Руководящий замирает, обалдевает и тихо себе, без слов, вылетает из комнаты.

– Да, странновато...

– Ну, это все-таки легенды. Хотя... Вот еще одна, она, может быть, точнее. Кто знает?! Последнее время что-то умирают вокруг Саши, те, кто с ним особенно общается. Просто умирают – и все. Но в основном – исчезают. Таких, пожалуй, больше: исчезают с поля зрения, как в воду канут...

– Ну, наговорил!

– Боюсь я где-то его! – вставил Закаулов.

И он затих. Тишина была мрачноватая и неожиданная.

– Мда, – нарушил молчание Борис, – вроде бы Саша где-то не чужд нашему миру – людей подпольного искусства... У нас же много слоев, есть и обращенный к метафизике, Олега, например. Кроме того, ведь в Москве много духовно-религиозных групп, есть и чисто эзотерический слой. Скажем, Кирилл Леснев и его союз русских мудрецов. Они связаны с Индией, с Востоком... Есть и другие...

– Ты еще лекцию прочти!

– Да нет, – смутился Борис, – я кляню к тому, что Трепетов вне всяких кругов, даже эзотерических, хотя казалось бы... Ведь он их всех знает... Но сам он – в каком-то другом, последнем круге, если такой есть...

И в это время опять раздались шесть долгих пронзительных звонков в квартирную дверь. Послышалось, что кто-то из соседей открыл. И через минуту раздался стук в дверь.

– Войдите.

И вошел Саша Трепетов: человек тридцати с лишним лет, среднего роста, с русыми волосами, с лицом, на первый взгляд, довольно обычным. Но вскоре это впечатление от его лица рассеялось. И увиделось иное: что-то очень далекое, еле уловимое, но присутствующее... И это далекое как бы отстраняло все человеческие выражения на его лице, и оттого оно становилось непроницаемым для самого пронзительного взгляда, оставаясь в то же время открытым.

Как-то чересчур напряженно и вежливо представились.

– Чайку? – смиренно спросил Олег.

– Отлично, – ответил Трепетов, усаживаясь за стол. За дверью, в коридоре, заворочалась любопытная старушка-соседка, любившая подслушивать – для утешения – непонятные разговоры.

– Так вот, Саша, – начал сразу Борис Берков, после некоторого молчания, – мы знаем, что вы как-то связаны с этим тайным человеком...

– Да, он хочет, чтобы я нашел для него людей, познакомиться, так сказать, поговорить кое о чем... Вы сами-то хотите, все трое?

– О, да! – поспешно ответил Олег.

– Почему бы нет! – задумчиво пробурчал Борис из своей «вольтеровской» глубины.

– Слишком большая честь! – закричал из своего угла Закаулов. – Но в общем-то я согласен, согласен!

– Но все это, естественно, не так просто, – проговорил Трепетов, поглядывая на них. – Я выбрал вас сам. Но прежде, чем состоится знакомство, надо будет пройти несколько этапов, может быть, два-три. И только потом, если все будет благополучно, – встреча и действие.

– Значит, как полагается: сначала надо узнать, способны ли мы к инициативе?! – усмехнулся Берков. – Будут испытания?

– Не совсем. Гораздо больше, чем испытание. Скорее антииспытание. Ничего страшного не будет. Никаких посещений сферы смерти. Первый шаг таков – попытаться найти еще двух-трех людей. Чтобы подсоединить к вам. Дело в том, что я выбрал вас более или менее произвольно, но других надо выбрать по некоторому принципу. Этот принцип совершенно закрыт и о нем невозможно говорить. Можно условиться только так: вы мне показываете своих людей, кого угодно, пусть самых интересных с вашей точки зрения, а я буду наблюдать и отбирать. Одной встречи с каждым достаточно для отбора.

– Значит, мы можем показывать кого угодно? – переспросил Олег.

– Да, кроме вот этих.

И Трепетов протянул ему бумагу, где значились фамилии, в том числе некоторых весьма известных подпольных художников, поэтов и писателей.

– Эти не годятся, – добавил он, попивая чаек. За дверь, в коридоре, кто-то испуганно прошмыгнул. – А потом, когда мы отберем людей, сделаем еще один шаг. Это будет второй этап: для всех, кто будет включен... И для вас, значит, тоже. А дальше будет видно... Может быть, потом вы встретитесь с ним и начнется главное.

– Саша, кто этот тайный человек? – Олег подошел к столу, намереваясь закурить.

– Не торопитесь.

– Но все-таки, хотя бы намеки. Мы же слышали независимо от вас кое-что.

– Его называют «алхимик», – заметил Борис.

– Ему уже не надо ни во что превращаться. Все, что могу пока сказать: у него много имен.

– Есть ли человеческое?

– Смотря по тому, что иметь в виду под этим словом. Какое... «человеческое»?

– Ну, для начала, просто имя, место рождения по паспорту? – усмехнулся Олег.

– И это есть. Его имя-отчество Тихон Федорович, и родился он в городе Пензе.

– Недурной городишко! Самое место для рождения таких людей.

– И еще. Вы можете его называть теперь: человек Востока.

– Это уже ближе...

– Да-с, Саша, – вдруг задумчиво высказался Леша Закаулов. – Надеюсь, вы не ввергнете нас в черную магию, договор с дьяволом...

– Бросьте, Леша, – добродушно и даже ласково возразил Трепетов, опять отхлебнув чайку. – Что же вы все привязали к князю мира сего? Вот уж действительно: сильнее кошки зверя нет. Это совсем из другой оперы. Не на полярности между богом и дьяволом все сошлось, – добавил он.

– Доказательства! – буркнул Алексей, полушутя.

– Почему такой страх перед дьяволом? – удивился Трепетов, поглядывая на Алешу. – Это же присутствует везде! – и он сделал широкий взмах рукой, как будто бы даже пригласительный. – Ну, хорошо. Если уж вы так волнуетесь, то доказательства будут, когда приступим ближе к делу... Только напомните мне.

Олег осторожно посмотрел на Трепетова. Его раздражало, что Саша имеет власть вопреки той сфере, где царствует он, Олег Сабуров, сфере поэзии. И это уязвляло его. Но он знал, что с этим надо смириться: что-то в душе его недавно надломилось, и она стала открытой для новых и таинственных течений. И эти течения меняли его. Он сдержал себя. Ему было даже жутко и где-то приятно ощущать себя беспомощным.

– Ну, так вот, господа, – закончил Трепетов, взглянув на часы, – я же говорил, свидание будет коротким. Давайте договоримся так: вы, Олег, – он как будто слегка выделял поэта, – позвоните мне, лучше утром, когда найдете первого человека. Но хочу заметить, что вам нечего беспокоиться, если даже я не отберу никого. Тогда мы перейдем к следующему этапу только с вами. К тому же, удача и неудача – это категории дьявола, а не наши. Мы не любим побед – в отличие от него, – добавил он насмешливо и встал.

- По рукам, – улыбнулся Берков и тоже встал.
- Оставайтесь, Саша, – предложил Сабуров. – ...Будет...
- Нет, спасибо, мне надо идти...
- Ну, как хотите. Ждите звонка.

Трепетов открыл дверь, и, церемонно извинившись перед подслушивающей старушкой, направился по коридору. Олег провожал его.

- Ну и тип! – воскликнул Леша. Олег тут же вернулся.
- И как? – взволнованно проговорил он.
- Тих, – ответил Берков.
- То-то и оно, что тих... Неужели ты не чувствуешь, как он весь затаен, и от его тишины веет чем-то неизмеримым... Такому не надо совершать чудеса...

– Да, совсем не то, что в легендах о нем! – воскликнул Закаулов из своего угла. – Но все это по мне, ей-богу, это по мне, ребята! Люблю послать все к черту и броситься с вышки вглубь...

- Тише, тише! – попытался остановить его Берков.
- Не хочу тише! И скажи, Олег, твоей соседке, чтоб донесла на нас в лучшие инстанции! – и Леха погрозил пальцем. – А не в те, которые роятся в человеческом дерьме: политика, грабежи, секс...

– Не бойся, Леха, она глуховата. Подслушивает она только наши шаги, – улыбнулся Олег.

– Пусть на шаги и доносит. В лучших инстанциях могут судить и по шагам.

– Лучшие инстанции и так наперед знают все, – прервал их Берков. – А теперь: как вы смотрите на все это?

– Скажу одно, – ответил Олег, расхаживая по комнате, – я чувствую ясно, что за Сашей что-то стоит... Мое чутье меня не обманывает. Но этот Трепетов чем-то меня раздражает, – вдруг разозлился он. – Адепт, так сказать. Хотя меня тянет к нему... вернее...

– Даа... человек Востока так и остался во мраке, – пробормотал Берков. – Еще надо пробиваться к нему.

Было решено, что «полет к человеку Востока» надо продолжать до конца. И, естественно, держать все закрытым, не вмешивая посторонних, как и было обещано Саше. Это лучше для них же самих. И попытаться найти других людей... И они удивились, что столько интересных и глубоких личностей стоит в списке тех, кто исключен...

– Ведь мы не знаем принцип отбора, тем более мы выбранны иначе, «произвольно», как выразился Саша. На чем этот принцип основан? Явно, не на обычном, – проговорил Берков.

– Темна вода...

Но в это время снова прозвучали знаменитые на всю подпольную Москву шесть звонков в одну из дверей дома №3 по Спиридоньевскому переулку. Кто-то ломился к Олегу сквозь ночь, ветер, бред и вой машин послушать стихи и огненно прокричать среди тьмы. Звезды уже заглядывали в окна.

– Идут, идут, уже идут! – воскликнул Закаулов.

– Начинается! – надменно усмехнулся Олег. – Пойду открывать.



Владимир Ковнацкий | Бочколёт | 1977 год



Глава вторая

Через некоторое время все переменялось в этой комнате. Несмотря на плотно закрытые двери, изнутри порой доносились истушленные крики, переходящие вдруг в шепот и бормотание, звон посуды и одинокие возгласы... Два раза кто-то выскакивал в коридор, взлохмаченный, потный, с криком: «Я больше не могу!»

Жильцы квартиры номер четыре, дома номер три по Спиридоньевскому переулку уже ко всему этому привыкли. Бывало все: и невероятные сборища до шести утра, и шествие среди ночи по длинному коридору в высшей степени подозрительных личностей, то оборванных, то чересчур интеллигентных, и появление милиции, и сумасшедшие беседы в коридоре, и бесконечный ряд водочных бутылок, и вынос пьяного тела – домой, к друзьям, или далеко-далеко... Жильцов поражала странная смесь лиц на «сборищах»: солидные бородатые люди, в хороших костюмах, с портфелями, иногда любовно ухаживали за дикими оборванцами, чуть ли не вытирали им со рта пьяную блевотину. Да и сами «солидные» люди были хороши, если правда, внимательно взглядеться им в глаза.

Одна старушка-соседка, например, «вглядывалась» и потом так пугалась, что заболела кошмарами.

– Ну, о чем можно целыми ночами говорить?! – возмущалась вторая соседка, которая тоже любила подслушивать. – Ведь говорят, говорят, ночи напролет... А то шепчутся, шепчутся... Ум последний потеряешь.

– Нет, это неспроста, – заявляли другие, – тут что-то есть...

И они шарахались от собственных слов. Впрочем, времена были уже давно не сталинские, и с точки зрения закона все было относительно благополучно. Даже с по-

рой возникающими милиционерами были добродушные отношения.

Поэт Лёня Терехов, например, вышел один раз из этого дома не только по-небесному пьяный, но и без штанов, и причем прямо навстречу милиционеру. Но поэт ничуть этим не смутился, а бросился в объятия служивому и стал его целовать. А на суровый вопрос: «Где штаны?» ответил: «Что значат штаны, товарищ милиционер, по сравнению с вечностью?» И тот увез поэта в вытрезвитель...

Среди жильцов квартиры номер четыре тоже обитал милиционер, Костя, но был он тихий и забитый. Он побаивался компании Олега (потому что видел то, что по его мнению, невозможно было видеть), но все-таки кричал иногда из-под двери, запершись на крючок:

– Олег, я тебя посажу, Олег, я тебя посажу!

Но дальше этого дело не шло, да он и не хотел никого сажать – но любил иногда шумно грозиться, прикрывая свой испуг. К тому же «посадить» кого-либо было уже трудно.

– Баб почему голых рисуют?! – возмущался он иногда, поглядывая в комнате Олега на картины по стенам.

За голых баб он принимал обычно иное, часто летящие гробы.

Так или иначе, но по средам и субботам таинственный и свободный загул царил в доме номер три по Спиридоньевскому переулку.

Сейчас в уютных двух комнатках Олега было всего человек восемнадцать – меньше, чем обычно. За окнами по-царски правила ночь, и почти все люди пришли недавно, отзвонив свои, вызывающие нервные судороги у жильцов, шесть звонков – знак, что идут к Олегу. Выделялась Катя Корнилова, подпольная царевна московских кружков, женщина лет двадцати семи с мягкими золотистыми волосами и лицом смелым и нежным. «Царевной» она была не просто за женственность – мало ли кра-

савиц в столице – но за «огонь и глубину личности», как плаксиво говорил Глебушка Луканов, знаменитый художник и ее поклонник. Глебушка был пьяница, который рисовал фантастические картины, напоминающие древние сказки, и слава его в неконформистском мире не уступала Олеговой.

Два портрета Кати Корниловой работы Луканова украшали лучшие салоны художественной элиты Москвы. Один из них словно был в ауре древнерусских царевен, милосердных и благодетных, подобно самой Анастасии, первой жене Ивана Грозного, которая смягчала страшный нрав царя: при ней он еще не был Грозным.

Сам художник и творец этих портретов смиренно сидел в углу, блестящими безумными глазами поглядывая на Катю. Был он почему-то в пальто, которое приходилось ему чуть ли не до пят. Катя пришла не одна, а как всегда, со свитой: за ней тянулась целая цепь «мамасек» или ее душевных поклонников и поклонниц, которых она пригревала своим существованием и вводила в круги неконформистской Москвы. Это были совсем молодые люди, неопиты, лет 19–20, которые еще тянулись к необычному. Некоторые из них впервые были на вечере у Олега и им торжественно подносился штрафной стакан водки – знак внешнего посвящения. Выделялась Верочка Тимофеева, самая молоденькая. Пухлая и доверчивая, она чуть не плакала от радости, и светилась, что здесь можно по-духовному выпить и поговорить о Боге. Она с любопытством поглядывала на человека, что-то шептавшего об антропософии Андрея Белого...

Катя – такое уж наступило у нее время – жила одна, свободная, но недоступная, хотя ее и окружали многочисленные поклонники, из которых она выделяла Глебушку Луканова.

– Что ты в нем нашла? – сказала ей как-то Тоня Ларионова, любовница Олега. – Может быть, он и великий художник, но сам как дитя. В нашем мире есть другие великие: сильные...

– Мне такие великие не нужны, – ответила ей по-теплому Катя. – Они без меня обойдутся. Я вот малышей люблю пригреть, им тепло сердечное давать. Им много не надо, Тонюша – ласковое словцо, чайком угостить, да иной раз о Царствии Небесном потолковать. А ведь тем великим я вся нужна: они жадные, избалованные. Я ведь и Глеба Луканова, из великих, терплю только потому, что он на них не похож: весь в соплях, пьяница, плачет часто, и по арбатским магазинам по вечерам побирается: на водку просит... Так-то вот, Тонюша.

И Тонюша, усмиренная, отошла.

Вообще поклонницы Олега – красивые, чуть-чуть высокомерные, холено-стройные – были противоположностью «маськам» Кати, бедным, утомленным и мечтательным...

...Олег только что кончил читать свои стихи – и все еще длилась тишина.

– Извел, извел ты нас своими стихами! – вдруг заголосил Закаулов. Около него лежал стакан из-под вина. – Что-то в твоих ритмах захватывает... Ритмы, ритмы – вот в чем дело.

– Олег, почему я всегда вспоминаю детей после ваших стихов? – раздался голос из тьмы.

– Водки, водки, водки! – завопил кто-то из угла.

– Да причем здесь дети!? – закричали рядом. – Здесь просто мастерство... Олег, прочтите еще!

– Не надо смысла, только не надо смысла! – забормотала белокурая девушка, очутившаяся около Верочки Тимофеевой. – Не надо смысла: от него страшно! Пусть от стихов остается только музыка. Только музыка. Не хочу смысла!

– Да нет же, смысл здесь усиливает музыку. Музыка тогда еще больше рвет душу! – выкрикнул Закаулов. – Как ты не понимаешь!

– Не могу я, не могу! Я должен выпить от всего этого! – застонал худой моложавый парень по имени Юля, и тут же исчез с бутылкой водки за шкафом. Он почему-то очень лю-

бил этот шкаф и иногда садился на него верхом, чтобы выпить там и послушать стихи.

Олег привык к подобной реакции и сам пьянел от нее. Он часто испытывал то же, что и слушатели, и ему хотелось читать, читать и читать, чтобы выхлестнуть все, и опьянеть от этого, и вознести свою душу куда-то вверх. Он чувствовал в себе смесь ярости и восторга. Кругом него были свои; кто лежал на полу, кто сидел у стола, какая-то группка облепила вольтеровское кресло. Всюду были разбросаны бутылки водки, пива, вина и необильная, скорее спартанская закуска: черный хлеб, лук, кусочки сыра. Но водки было в невероятном количестве: вдоволь хватало на всех.

Олег прочел довольно много, и был какой-то переломный момент: некоторые устали. Читать дальше или не читать?

Все решили резкие сумасшедшие шесть звонков в квартирную дверь.

– Кто это ломится? – подумал Берков. – Уже совсем ночь.

Пошатываясь, Берков пошел открывать – вперед, по длинному коридору. Он слышал, как что-то щелкнуло, и ему показалось, что дверь в одну из комнат приоткрылась, и на него смотрит глаз: огромный, внимательный и пугливый.

То была старушка-соседка, которой часто после «сборищ» снились кошмары. Беркову захотелось шагнуть к ней, но он раздумал и продолжил свой путь. Неуверенно открыл дверь, и перед ним очутился Ленья Терехов.

В другом конце коридора по какому-то наитию уже чувствовали, что это Терехов. Высунулся кто-то лохматый и белолицый (напротив жил милиционер, который прошипел).

– Терехов, Терехов идет! – громко и радостно закричали. Олег немного сник, теперь не хотелось читать. Терехов был единственный подпольный поэт в Москве, который – по крайней мере, в смысле славы – мог соперничать с Олегом. И писал он другие стихи – совершенно разорванные, безумные, возникающие

как факелы в ночи (в творчестве он считался намного левее и авангардней Олега). И жизнь его была подстать его поэзии.

– В шапке или без? – спросил Олег.

Если Лёня был в шапке, независимо от погоды – это значило, что он почти трезв. Шапку же он снимал (тоже независимо от погоды) – когда был пьян. Как он объяснял – из почтения к алкоголизму.

– Без шапки, но держит ее в руках, – осведомила Олега Тоня Ларионова.

Олег вздохнул. Последний раз Лёня появился перед ним в шапке – в приличной академической компании, куда был приглашен. И действительно, был трезв. Пили только чай – из опаски – но Лёня почему-то часто отлучался в уборную, и хотя ничего не пил, кроме чаю, с каждой отлучкой все пьянел и пьянел. Все впали в транс от этого, а Лёня, наконец, вышел из уборной без шапки, и Олег понял, что Терехов припас в кармане бутылочку и прикладывался к ней в тишине клозета. Для вдохновения, чтобы читать стихи.

– Если Терехов идет, то ожидай маразм и сумасшествие! – раздался вдруг голос сверху, со шкафа. То произнес Коля, который уже сидел там с четвертинкой водки.

Какая-то маленькая, смеющаяся девочка подошла к шкафу и вытянула личико:

– А ты знаешь, Коля, кому, я слышала, Терехов любит больше всего читать свои стихи? – прошептала она, – трупам! – и она подняла пальчик. – Да, да, трупам. Человеческим. Он как-то умудряется присутствовать среди них.

В ответ Коля молча налил ей стопочку и протянул со шкафа.

Терехов вошел, и тут же его окружили. Был он растерзан, в распахнутой рубашке, и выглядел старше своих двадцати шести лет.

– Лёня, штрафную!.. Где ты, где ты пропадал!? Тебя все ищут по Москве!

– Да разве его найдешь?!

– Пива!

И ему налили кружку пива. Он плюнул в нее и отпил.

Но его появление неожиданно внесло метафизические ноты в заул. По всем этим людям, в этих двух комнатах, с их непонятной мебелью и безумными картинками на стенках, вдруг прошел некий трепет. Неясно, с чего это началось, но идея этого трепета была такова: надо превращаться, превращаться и превращаться! Превращаться – в кого? Это было неизвестно! Но в этом движении смещалось все: и жажда бытия, и желание вырваться из себя, превратиться во что-то иное, может быть, даже в светоносное. Коля так и подпрыгивал на шкафу от этих предположений. Из-за этого водка пролилась на голову смеющейся девочки Лены.

– Превратиться... Превратиться... Превратиться, – этот шепот, это бормотание передавалось от одного человека к другому, охватывая почти всех.

– Я чувствую, что во мне зреет мое будущее воплощение, – бормотал молодой человек в красной рубашке. – Оно будет кошмарным. Моя душа воплотится не в этом мире. Он будет черным, с огнями-провалами, и никто в нем не найдет друг друга.

– И я вижу в себе... – кричал кто-то в ответ, схватясь за галстук Беркова.

– Вырваться, вырваться, вырваться! – стонал Закаулов, вставший из своего угла.

– И улететь!

– Куда улететь!?!.. Куда... Куда?!

– Я знаю...

– Но мы там будем одинокими...

– А я хотела бы стать котом, – вставила белокурая девочка из Катиной свиты. – Просто так. Не от ума.

Леня, стоявший по-прежнему в центре комнаты с пивной кружкой в руке, недоуменно и сердито реагировал на эти бормотания.

Наконец, он прервал всех.

– А я вам вот что скажу! – закричал он, и все обернулись к нему. – От себя не улетишь!.. К адку, к адку надо привыкать!

– К какому «адку»?

– К обыкновенному. К аду. Который здесь на земле, и особенно после смерти. Да поймите же вы, – и его мутные глаза вдруг загорелись, – эти тихие спокойные вещи: большинство людей в аду будет! Да и сейчас полуад на земле... Так вот привыкать, привыкать надо. (Леня даже застонал...) Надо приучаться любить страдания, любить ужас и вопреки всему жить в аду своим бытием! Ведь бытие наше все равно там останется, и оно есть. Патологическая любовь к жизни в аду – вот в чем сейчас нуждается человечество! Брести по черному, обездоленному миру, и любить свое бытие!

– Не слишком ли?

– И даже мерзость, мерзость любить! Потому что иначе не вывернешься: она всегда с людьми, любим мы ее или нет. Уже здесь на земле повенчаться со страданием... Тренироваться, тренироваться надо для ада! Ишь, адожители!

И он захохотал – по-своему, дико и с надрывчиком.

– Ну, начинается, – проговорил недовольный Олег.

– Я почему в свою кружку плюю, – покачнулся Леня. – И еще плюю. Вот (и он плюнул). Это высший экстаз: жизнь мерзка, а я все равно ее люблю.

И он влил пиво себе в глотку.

– Жизнь мерзка, а я все равно ее люблю... – это опять каким-то шепотом пронеслось по комнатам. Все смешалось, и все завертелось.

Кто-то говорил, что вечного ада не существует: почитайте индусов и эзотериков... Но не так важно, сколько он длится... Просто: страдания, страдания и страдания... Разве их мало уже на земле? Здесь тоже стал полуад.

Другой говорил, что пришедший к чистому бытию в аду тем самым освободится от ада; но знающий, как освободиться от ада, не попадет в него.

И все вдруг стали смеяться, и наливать в стаканчики водку...

– Странники... милые странники, – говорила Катя Корнилова, подняв высоко бокал с водкой, – жизнь так прекрасна, ошеломляюще! Даже ангелам не так хорошо, как нам! Если есть дух внутри!

«Адожители», как обозвал всех Терехов, согласились с этим.

– Не мерзость надо любить, ребята, а бытие, бытие, даже если оно среди мерзости: вот в чем дело, – и Катя подошла близко к Терехову. – Ты понимаешь?

– Я все понимаю, царевна бытия! Я почти это и имел в виду. Но я все-таки опять плюну в свою кружку...

– Водочки, водочки бы сюда, – улыбалась всем широколицая Верочка Тимофеева.

– Ты же прямо в ней плещешься, – отозвалась ее подруга. – Иди, иди сюда, Верочка... Я расскажу тебе свои последние цветные сны. Идем в уголок.

И она взяла ее за руку.

– Бессмертия, бессмертия! Бессмертия! – внезапно закричали из какого-то дальнего угла.

...Да, да, вот оно, найденное слово; вот чего им действительно не хватает: бессмертия. И это слово, как молния, как взрыв, прошло по комнате.

– О, конечно, бессмертия, бессмертия! – застонала Катя, вдруг раскинув руки. Глаза ее на белом лице загорелись, и вся она засияла внутренней огненной красотой. – О, как я хочу бессмертия! Никто не знает об этом!

Бессмертия – не обязательно божественного, – думала она. – Бессмертия – чтобы жить, жить где угодно, пусть в квази-

мирах забытых галактик, или в бредовых сочетаниях астральных пространств – но жить. А что значит – жить? Это значит ощущать себя, свое бытие. И Катя поцеловалась с Тереховым.

– Да, да, мы будем жить! – пробормотала она. – И наплюю на собственный труп – с небес! Давай-ка чокнемся за это!

– Бессмертия, бессмертия! – завопили из дальнего угла.

– Водки... водки... водки! – раздался другой крик.

Один молодой человек уже был под столом, и посматривал на Колю – который был вверху, на шкафу.

Катя подошла к известному подпольному прозаику – он писал рассказы и сказки – Вале Муромцеву. Его звезда начинала уже восходить и быстро приближалась к звездам первой величины неофициального мира Москвы. Это был плотный человек среднего роста, лет двадцати восьми, в черном костюме, и сидел он в глубоком вольтеровском кресле у окна (там, за окном, словно пели скрытые птицы) в глубокой задумчивости, как будто не принимая участия ни в чем...

Катя наклонилась над ним и заколдовала:

– А я тебе говорю. Валя... что выть ты будешь... выть, если с тобой что-то случится... В смысле приближения смерти...

Валя вздрогнул и посмотрел на нее.

– Ты жить хочешь, – ее голос даже дрожал. – И это твое желание совсем особенное... Не как у многих... И потому ты не выдержишь, я знаю это, я понимаю тебя, если что подкрадется... И ты будешь выть... Это все наше, от нутра. Ты и из могилы будешь кричать: жить!.. Ладно, ладно, думай о своих рассказах.

И она плавно отошла от него.

– Что это с ней? – вырвалось у стоящей рядом Тони Ларионовой. – Опять о смерти?! Зачем?! Когда у меня по ночам иногда возникает эта мысль, мне хочется кричать, и я тогда выбегаю на улицу...

А Глебушка Луканов, сидевший на полу рядом с креслом, даже не понял, о чем говорят: он думал о любви, и смотрел ми-

мо «адожителей» вослед царевне бытия. Он ревновал Катю ко всем и собирался посвятить ей свою новую картину. Глаза его, маленькие, запрытаннные, празднично блестящие, и он все припевавал, лихо и пьяно: «Сижу на нарах, как король на именинах...»

Муромцев повернул встревоженное лицо к Тоне, и вдруг усмехнулся:

– Если я умру, пусть обогреет меня после смерти... Пусть придет и обогреет.

Тоня отшатнулась от него.

– Мы спасемся, спасемся, спасемся!

Опять раздалась чьи-то взрывные голоса, кто спорил, кто разливал водку, кто целовался...

– Не верят мне, не верят, – раздавалось где-то в стороне, но все это сливалось с другими голосами. – Зачем так подло издеваться над собой... А я самой себе завидую... Нет, нет, убежим отсюда, я хочу в пивную, там дети плачут... Или мы спасемся все, или же конец: все погибнем. Потому что нет уже праведников, святых на земле, темно стало – или все погибнем, или все спасемся... Да, нет, нет, я люблю тебя... Ух, хороша водочка...

И тогда произошло нечто необычное.

Олег, уставший и в каком-то тихом пении, вышел в коридор – отдохнуть. Он побродил минут десять между старыми сундуками и другим фантастическим бардаком, заглянул на кухню. Там уже спал кто-то из гостей. У соседей не было слышно ничего. Он вернулся обратно, раскрыл дверь в свою комнату, и... ахнул, увидев... самого себя.

Да, это был он.

В центре комнаты на столе виделся человек с его – Олега – взглядом, с его тоской, с его движением рук, и он читал его – Олега – стихи. То же поднятие рук вверх, те же паузы, тот же крик, переходящий в шепот. Превращение было полное.

Олег вздрогнул, но, опомнившись, взгляделся.

В конце концов это был Терехов. Просто он не понял сразу – в сознание бросилось: это я, – то ли от полной имитации, то ли потому, что он был уже достаточно пьян.

Но теперь это вдруг взбесило его. Значит, один уже превратился. Но почему в меня? И почему Терехов? У него ведь есть свое, он, кажется, никого никогда не имитировал, и тут... словно с ним что-то случилось. Олег почувствовал отвращение и тяжесть. Он остановился, сложил руки на груди и внимательно посмотрел на Терехова. Нет, внешне он не издевается, не карикатурит; он просто читает его стихи, повторяет его – Олега – манеру. Поэт по какому-то капризу воплотился в другого поэта.

Но несмотря на внешнее квазиприличие, подспудно Олег ощутил: это издевательство. Может быть, не Терехова, но судьбы. Во всем этом повторении, в этой имитации, в ее подтексте, было что-то странное, болезненное, непонятное – и была страшная, но скрытая издевка и надругательство над его уникальностью и единственностью. Над его неповторимостью. Точно удар хлыстом по лицу.

И тогда Олег взорвался.

Он подошел, схватил Терехова за руку и резко сказал:

– Уходи!

Терехов спрыгнул со стола, и в этом спрыгивании Олегу почудилось уже что-то совсем карикатурное, гротескное, чертовское, обезьянье.

– Уходи из моего дома! – повторил Олег. – Иди. И привыкай к жизни в аду, где хочешь – но только не у меня.

К его удивлению, супер-скандала не произошло. Кто закричал, кто разбил бутылку, кто защищал Терехова, но большинство – все-таки они были его гости – стояли за Олега. Одна девчонка завопила о неблагодарности. Коля со шкафа запричитал, что он все это давно предсказал. А Тоня Ларионова промолвила тихонько, что так нашептала Катя Корнилова – что это все из-за нее.

На этот раз Терехов – против своего обыкновения – почему-то не взбесился. Он побледнел, подошел к порогу, и произнес:

– Я и сам хотел уйти. Не понимаешь ты упоения в скрытой мерзости! Жизнь – это не бабушкин балаган! Учись, учись, тренируйся для ада, дурень! Прощай, Олег!

И он хлопнул дверью, захохотав.

Все так и застыли в полном изумлении и молчании. Верочка Тимофеева даже забыла выпить свои полстакана вина.

– Терехов есть Терехов, – тупо прошептал Берков.

– Устал я от мерзости, господа. Без Лени было так прекрасно! – проговорил Закаулов, уходя в запроходную, маленькую комнату.

– Чтоб больше я его не видел. Хватит уже. Пусть никто не приводит его, – мрачно добавил Олег.

Однако этот взрыв не прервал полностью течение вечера. Некоторые, правда, смутившись, ушли. Но вечер продолжался, хотя в более меланхолических тонах.

Под конец зазвенела даже гитара, и полились песни: сумасшедшие, лихие и сюрреальные. Про медведя, который забредет играть на рояле. Про девочку, которую забыли в снях. И про мертвецов, которые будут ругаться матом. Но постепенно все стало затихать: иссякали силы, водка, стихи.

«Сборище» перестало быть единым: оно распалось на отдельные группки. Но в запроходной комнатке еще неистовствовали, распивая последнюю, припасенную под кроватью, бутылку водки. В стороне, сидя у зеркального шкафа, пьяный молодой человек объяснялся в любви.

В другом месте смиренно говорили о Небытии.

Глебушку Луканова – бесчувственного – увозили его поклонники к старушке-матери, благо она жила недалеко. Так распорядилась, исчезая, Катя Корнилова, блеснув напоследок золотом своих волос.

Некий лохматый художник плакал на груди Муромцева.

– Прощай, старик, прощай... Еще только через два дня увидимся!

– Не тяни ты меня за душу, не тяни, – услышал где-то Олег. – Все равно то, что ты мне сказал, не сбудется изнутри. Ты проник в самую глубь. Но прощай, дружище, давай поцелуемся. До завтра.

Скоро все затихло. Почти все ушли. Остались – Олег, Закаулов, Берков и Коля, дремлющий на шкафу. Впрочем, про него говорили, что он мыслит во сне.

Уже начинало светать за окном. Первые восходящие лучи были нежны и еле приметны: бездна от них только окрасилась в бледные тона.

– Ну, вот, Олег, – заключил Берков, сидя в вольтеровском кресле. Он был пьян меньше других. – Занавес опущен. Все кончено. А как вы себя сами чувствуете, господин главный поэт, на этой сцене?.. Что открыли? Кем это было разыграно? Богом? Дьяволом?

На полу валялись осколки разбитых стаканов, бутылок, окурки, копировальная бумага, и в воздухе еще плавал злоеще-мечтательный дым от сигарет.

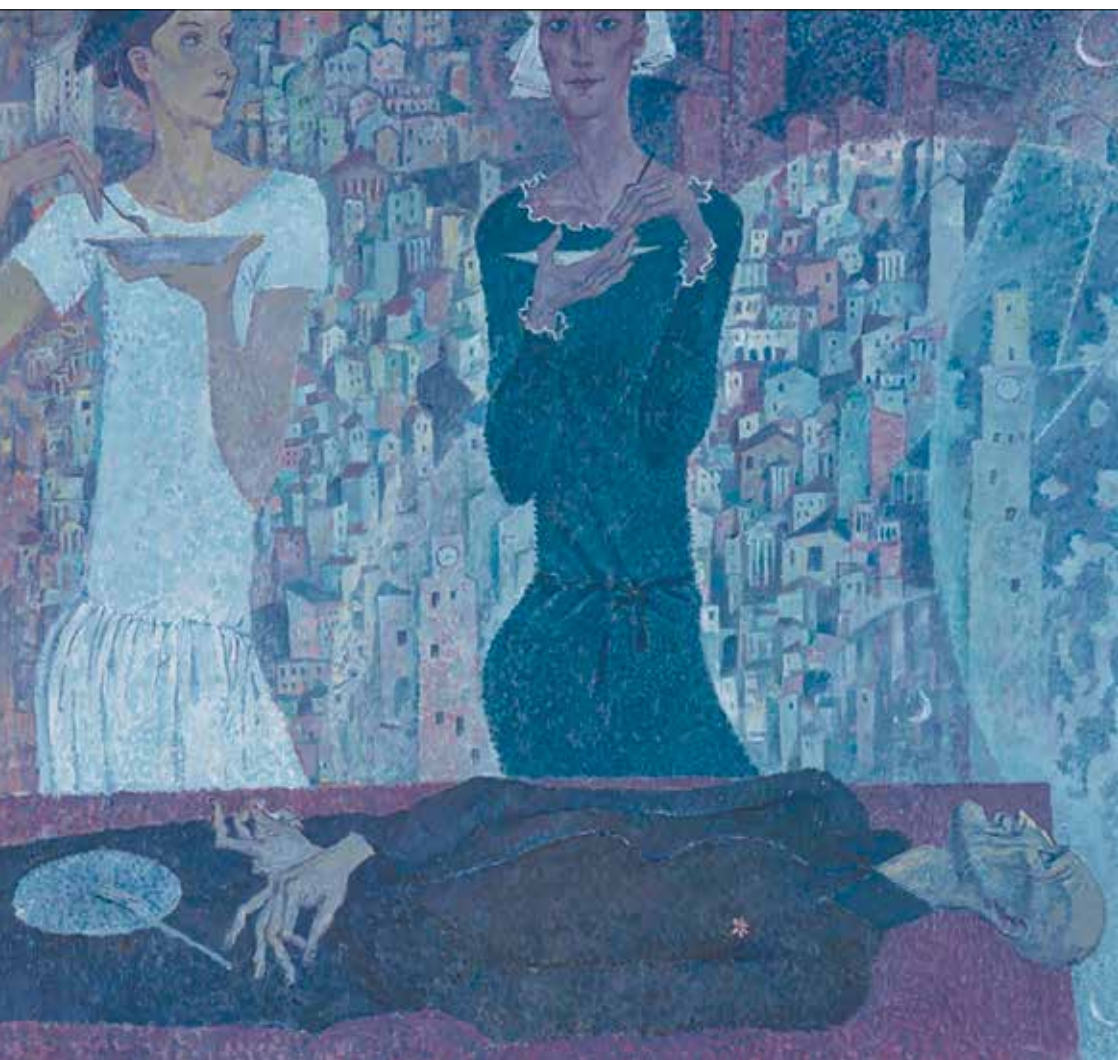
– Я не знаю, кем это было поставлено, – отметил Олег, чуть-чуть отрезвевший. – Но эта сила – глубоко искренняя. Все было всерьез. Наобщались всласть.

– Но веришь ли ты, что это ведет вверх, к небесам?

– Не Бог – отец лжи. Все, что от такого обнажения души – бесконечная ценность. А мерзость – что ж, куда ж от нее денешься, бывает...

Закаулов плакал, высунув голову в окно. Но это были слезы просветления. Свежий московский ветер обвевал его и лечил.





Борис Свешников | Овед и ужин

Глава третья

Тяжелое наступило для них утро. Новый день еще не чувствовался в этих комнатах, где недавно прошла «мистерия обнаженных душ». Коля – на шкафу – проснулся первый, часам к двенадцати дня. Он ошарашенно огляделся, ничего не понял, но, увидев спящих Олега, Бориса Беркова и приютившегося в кресле Закаулова, сразу пришел в себя. Они знали его привычку просыпаться первым, а поэтому ему была оставлена на тумбочке пьяная записка со стопкой водки на опохмел. Но он прежде всего засуетился: не потерял ли свои книги. Он быстро их нашел, под столом; то были том Сведенборга, Добротолубие и Бердяев. Успокоившись, он быстренько выпил водочку, постучал по шкафу и вышел.

Молодая соседка Олега устыдила его вслед:

– Образованный, Фридриха Энгельса, – указала она на книжки, – небось читаешь, а пьянствуешь ночами!

Вскоре проснулись и наши друзья. Болела голова, все расплывалось, дрожали руки, и было чуть грустновато на душе – но с каждой минутой жизни, капля за каплей, опять возвращались к ним.

– Ишь ты, – первым складно выразился Закаулов.

Но через полчаса дело продвинулось немного дальше, и Берков, который уже успел напиться чаю, вдруг спросил у Закаулова:

– А скажи-ка, Лешка, что ты вдруг так разрыдался вчера на подоконнике? Правда, перед этим ты смеялся.

– О, какой ты наблюдательный, – вздохнул Закаулов. – Я был сильно выпивши. А расслабился я потому, что ты спросил: приведет ли это к небесам?

– А, помню. Ничего себе: все-таки сразу – к небесам!

– А что?! – тихо отозвался Олег. – Дух любит парадоксы. Почему бы и нет, почему бы и не здесь? Но, конечно, раз обнажение душ – то и другого хватает, черненького, все, что есть, то и выкладывают. Так что не серчай, Леха, как-нибудь все равно прорвемся. Глядишь, тайный человек поможет.

– Я и не серчаю! – бодро ответил Закаулов. – Чего-нибудь придумаем. Средства, говорят, есть. Только найдется ли для меня, такого забубенного... А жизнь все равно хороша, даже без небес, особенно если есть на опохмел.

И он встал, потянувшись.

– На опохмел всегда найдется. Надо двигаться, господа. А то здесь закиснешь. Московский воздух душу лечит. И пиво, – тоном хозяина похмелья сказал Олег.

– О, нет, я не могу. Вы люди относительно свободные, а мне надо в институт заглянуть, – с сожалением объявил Берков. – Я в другую сторону.

И в эту минуту вдруг позвонил Валя Муромцев. Он переночевал у знакомых и рано утром ушел от них. Но потом на улице ему внезапно стало тоскливо и захотелось опохмелиться с подпольным поэтом. У него было очень муторно на душе, об этом он даже прокричал по телефону. Нужна была срочная похмельная помощь: такой уж был договор среди братства неконформистов. Решили встретиться у одного облюбованного деревянного пивного ларька, не так уж далеко от центра Москвы, но в то же время и на отшибе. Народу там бывало мало, а рядом располагались подходящие дворики, лужайки, закутки. Закаулов знал почти все пивные ларьки Москвы и считался мастером причудливых закутков, где можно было мистически и быстро опохмелиться в стороне от чужих глаз.

Но на этот раз после ухода Беркова настроение у Олега стало особенно подавленным, как редко бывало раньше. Смешалось в душе все: и похмелье, и Саша Трепетов, и человек Востока, и, несмотря на успех чтения, какая-то тоска: где-то он

остановился, нужен новый страшный опыт, чтобы дать его поэзии иной поворот. И потом: страх, страх оттого, что он – только человек, в обычном мягком теле, которое так легко раздавить, и нет защиты нигде.

И вместе с тем было желание уйти от всего, улететь, встретиться с чем-то невиданным. Он тихо улыбался себе: это была та «трусть», которая шла на смену «власти».

Закаулов пел в метро. В метро он почему-то всегда вел себя шумно и нахально и производил впечатление не лучшего друга поэта, а наоборот. Сабуров расслабленно посматривал на него со скамьи. Но скоро они вырвались из светлого подземелья наружу, в район города, где была заветная пивнушка.

Огромное свободное пространство Москвы – бесконечные дома и леса (они стояли на горке), и синее небо надо всем, и золотое солнце – захватило их. Люди казались многозначительными и до странности сложными, не простыми по своей сущности, особенными... Похожее чувство возникало иногда при легком опьянении или наутро после тяжелой пьянки, когда выпьешь воды, и чуть-чуть опьянеешь опять – точно с помощью этого состояния приоткрывалась завеса. Друзья молча вышагивали вперед, мимо людей, которые тоже не очень спешили: кто в магазин, кто по работе, кто – в кусты. Какой-то здоровый мужик ошеломил их своим видом. Где-то из окна лилась песня, там в чем-то признавались у дерева, там уходили в себя...

Наконец, свернули в переулок, в сторону, где виднелись загадочные своей простотою деревянные двухэтажные домики – и открылась маленькая пивнушка на зеленой лужайке. На пеньке перед ней уже поджидал Валя Муромцев – без портфеля, без телефонной книжки, гол как сокол. Был он полноват, холен, но сейчас почему-то весь в грязи: относительно. Чувства его были растерзаны, но улучшились при виде друзей.

– А не позвонить ли нам Светланочке Волгиной? – сразу предложил он.

– Светланочке Волгиной? – ошеломленно спросил Олег.

– Да. Она любит пивнушки, а главное, так успокаивает, когда с ней пьешь. Тем более, она тут рядом живет. А я потерял ее номер, – развел руками Муромцев.

– А что с тобой? – спросил Закаулов.

– Да обычное похмелье. Пропил память, – отмахнулся Валя. Телефон был у березки: и позвонить было делом одной минуты. Светлана помялась, но все-таки согласилась прийти, добавив, что придет ненадолго и одна, так как ее Петр сейчас занят. Петр был ее муж, бард из того же подпольного мира.

Решено было не делать ни одного глотка без Светланы, хотя ожидание могло быть мучительным. И, наконец, она появилась: легонькая, добрая, по-детски трогательная, если бы, пожалуй, не чересчур умные и в то же время поэтические глаза. Русые волосы облекали ее головку, и она заранее улыбалась.

– Извините, Олег, – сказала она. – Мы с Петром не смогли попасть к вам вчера, так уж получилось. Как было? – и она протянула руку.

– Было, как всегда, уютно и страшно, – ответил за Олега Валя Муромцев.

Закаулов тут же подхватил пивные кружки, распорядился и завернул в отключенный лесок около пивной, где на пеньках можно было потаенно рассестся в тени березок под защитой кустов. Всем в пиво немного плеснули водки.

Светлана поправила волосы, вздохнула и сделала первый глоток.

– Не тужи, не тужи, Светочка, – развеселился Закаулов. – Все прах, все тлен, все сон Абсолюта...

– Ну, пока мы живы, можно иной раз повернуться задницей к Абсолюту, – недовольно вставил Валя. Олег поперхнулся от смеха.

– Ох, хорошо пошла, – улыбнулась Светлана. – Надо, чтоб каждая родная своя жилочка, даже самая маленькая, наслаждалась и впитывала... и потом, потом... дойдет до головы, и ты отключишься...

– Мы готовы...

– Да, да, чудесно, – Олег посмотрел вокруг. – Здесь так тихо, шелестят травы, как на том свете, когда шум города еле слышен в дали...

– Отсюда он кажется таким странным, – вздохнул Валя. – Ну что ж, выпьем за Светлану...

И все присоединились к тосту.

«Что им нужно от меня? – подумала Светлана. – Чего они хотят? Какое такое собственное тепло я могу им дать? И что они видят во мне? Да видят ли они меня? Может быть, они видят то, что стоит за мной – как сказал недавно Валя Муромцев. Не-что незримое и прекрасное. Значит, они влюблены в моего ангела, а не в меня... Но ведь ангел-то мой; чего ж он присоседился там у меня за спиной?.. И хорошо ли ему теперь? Наверное хорошо, раз мне неплохо... Да, как есть, так и есть».

И она нежно огляделась вокруг. Над ней шелестели березы, но если задрать голову и посмотреть вверх, то видно было между деревьями – далекое, бездонное и синее небо. И ни одного облачка, ни одного ангельского лица.

– Значит, ангельские лица внутри, – подумала Светлана.

Олег прилег на траву.

– Ох, как хочется отдохнуть после всего, – проговорил он. – Очень все тяжело и остро, и больно со всех сторон. А вот сейчас мне захотелось остановить время.

– О, ты совсем расслаб, – улыбнулся Закаулов. – Да и я тоже.

– Если и есть Красота Божия – то ненадолго мы ее вбираем, – добавил Олег. – Такую я вчера сцену между прочим видел во время нашего вечера: Тоня Ларионова...

– А, брось, Олег, – прервал Закаулов. – Мало ли что со дна души может подняться! Мой соседка за полчаса перед смертью знаешь, что выкрикнул? Волосы будут внутрь расти, если узнаешь! Иной раз такое выплеснется, сам себе не рад.

– Давай-ка лучше еще раз по пивку.

– Чтоб уж совсем для души, почитайте, Олег, Блока. Вы так это умеете, – улыбнулась Светлана.

– Сейчас не надо, – вставил Валя Муромцев. – Мы и без того пьяны.

– Нет, Светланочка, извини, я что-то не в ударе. Пусть плывет, как плывет. Деревья, листья, твое лицо, небо... Пусть кружится. Главное, чтоб не провалиться во тьму.

– О, – вдруг вздрогнула Светлана. – Выпьем за то, чтоб нам не провалиться во тьму!

– Конечно, конечно! Но ведь каждую ночь ты во сне в нее проваливаешься, – прошептал Валя.

– Ну, это ведь с возвратом! – захохотал Закаулов.

– Тогда за возврат! – произнесла Светлана; откуда-то появились маленькие стаканчики для водки.

– Чтобы нам все время из тьмы возвращаться, видеть друг друга и пить, – возбужденно заговорил Муромцев. – И видеть лицо Светланы, – подумал он.

– А небо-то какое, – пробормотал Олег. – Боже мой, какое небо!

Все выпили, чокнувшись, ибо пили не за покойника¹, за возврат из тьмы.

– И хорошо бы еще, – суетливо добавил Муромцев, дрожащими руками прикасаясь к пивной кружке, – чтоб из тьмы этой бездонной и жуткой – я не про сон говорю, а про настоя-

¹ По старинной русской примете нельзя чокаяться, если пьешь за покойника: иначе он может позвать к себе. – Примечание Ю.В. Мамлеева.

щую тьму, послесмертную – кто-нибудь да выскакивал, обгоренный, и встречался бы с людьми и чокался!

– О, это у тебя свое, – заметил Олег. – Это уже из твоих рассказов.

– Волосы, глаза, – все, все, – шептал Закаулов, пьянея. – Теперь не надо никуда уходить. Бывает так хорошо, что не хочется дальше жить.

– Тем не менее, – удивился Муромцев.

Светланочка улыбалась и разливала водку в маленькие «похмельные» стаканчики, которые заботливо расположила. И вообще она чуть-чуть ухаживала за своими бедолагами. Даже молчание становилось нежной музыкой, и каждая улыбка, слово невзначай, приобретали особое значение. Словно оказались они вытянутыми из мира и перенесенными в более тонкий и блаженный слой бытия, где не было ни жестокости, ни бед. Нежность немного была не от мира сего, но в то же время исходила из какой-то бездны в человеческом сердце.

Светлана играла здесь, конечно, главную роль, и они не могли насмотреться на ее лицо, на эту бесконечную смену улыбок, теней, странных слов. Точно они погрузились в скрыто-блаженную сферу души, внезапно обнажившуюся. Большие глаза Светланы то влажнели, то наполнялись слезами, то уходили в свою вечную синеву; она сама была в этом... Ронялись слова, иногда звенели стаканчики, дул из города свободный бесконечный ветер, и если бы им сейчас сказали: «умереть», они все с улыбкой приняли бы смерть и заснули. «Как долго может чистота длиться в мире», – думал Закаулов.

«Очарование ли это, чары? – проносилось в уме Муромцева. – Нет... нет... это ведь реальное... это есть».

Светлана встала и подошла к березке. Ветер и звуки далекого города, хотя в то же время рядом. Что-то протоптано на земле, чьи-то следы, куда они ведут, что остается, что нет?! И как плачут листья, когда они любят?!

И вдруг потемнело. Олег ушел в непонятное забытье. Когда он очнулся – сколько прошло времени, он не помнил – Светлана уже просталась: ей надо было идти. Растроганный Закаулов, совсем трезвый, напросился проводить ее.

Валя Муромцев почему-то постеснялся присоединиться к ним и решил идти с Олегом, совсем в другую сторону, к метро. Выйдя из леса, простились и разошлись.

Олег и Валя быстро очутились в сутолоке улиц, среди автомобилей, троллейбусов, спешащих людей, спокойных толстенных газировщиц. Олег не замечал вокруг ничего, и вдруг постепенно стал впадать в странную ярость.

А Валя говорил что-то; и вот Олег услышал.

– Да, глаза Светочки могут поднимать мертвых из могил.

– Вот уж занятие у нее будет, – расхохотался Олег, – поднимать взглядом покойников из гробов!

– А что?

– Ну, ладно, приди в себя-то, – вдруг резко и холодно сказал Олег. – И не безумствуй.

– Но ведь Бог, говорят, умер, – не унимался Валя, улыбаясь.

– Ну, это смотря для кого.

Усталые, они присели на скамейке, в садике, недалеко от станции метро. Та самая ледяная ярость поднималась в душе Олега: и он отчужденно посмотрел вокруг.

– Вам бы всем вечно сидеть под юбочкой, – далеким голосом проговорил он. – Извини, Валя, я сам люблю это времянами. Я имею в виду ах, слезы, необычайные глаза, и воспарение неизвестно куда.

– Ничего себе поэт, – ошеломленно подумал Муромцев. – А я ведь прозаик.

– Ну, предположим, отобьешь ты Светку у Петра, женишься: но ведь все будет другое, я не говорю, будет только плохое, но все другое, – продолжал Олег. – А эти необыкновенные моменты!.. Как тебе сказать!?! Я не думаю, разумеется, что

это иллюзия, нет, но это существует в каких-то иных измерениях, чем человеческая жизнь. Ничего уж не поделаешь! Мы можем там быть только мгновениями.

И он хлопнул Муромцева по колену.

- Пойдем!

И они вошли в сумасшедшее, бешеное кольцо метрополитеновской станции. Свет ослепил их, и ошарашил грохот. Поток людей несся вперед.

С трудом им удалось присесть в набитом битком вагоне. Вагон тронулся, и поезд помчался в черную пропасть подземелья.

Муромцев погрузился и неожиданно спросил Олега, наклонившись к нему:

- Олег, я вспоминаю один разговор у тебя: после Бога, теперь очередь искусства умереть на земле...

- Везде все умерло, дело не только в искусстве.

- Все умерло? - с каким-то ужасом спросил Муромцев.

- Если не считать исключений, немногих.

- Но будет ли возрождение?

- Если и будет, то только после конца мира.

- И что же делать?! - воскликнул Муромцев. - Бог умер, искусство умирает, Красота возможна лишь мгновениями, и нигде на земле надежды нет! И что же делать!

- А вот когда, - ответил Олег, - будет самая жуткая, последняя безнадежность, как у Цветаевой, но ты не повесишься, а останешься жить, вот тогда начнется самое главное.

- Я это и так знаю, Олег. С этого сейчас начинают. Я просто прикидывался. Извини, - вдруг спокойно сказал Муромцев.

Мелькнула станция, и поезд опять исчез во тьме тоннеля.



Владимир Пятницкий | Кем ты хочешь стать?

Глава четвертая

Через несколько дней Олегу позвонил Трепетов и спросил, нашел ли он человека, которого можно было бы «посмотреть». Олег слегка замялся, а потом ответил, что один по крайней мере сейчас есть, и договорились встретиться.

Олег имел в виду Виктора Пахомова.

Виктор появился в Москве недавно: раньше он жил по областным городам, и даже бродяжничал. Но он совершенно не походил на бродягу: чисто одетый, всегда в аккуратном костюме и при галстуке, выбритый, с холодным и интеллектуальным лицом. Закончил он где-то факультет иностранных языков.

Худой, высокий и молчаливый, и уже лет сорок было ему, одинокому. Его прошлая жизнь была никому не известна в Москве. Но он рассказывал иногда об этом страшном событии: его мать погибла во время ташкентского землетрясения. Это случилось так. Они жили вдвоем в маленьком домике, неожиданно он проснулся и вышел во двор, а через минуту дом обрушился, и его мать была задавлена на его глазах.

– Почему не я? – говорил он однажды Олегу, с которым у него сложились почти дружеские отношения. – Конечно, я был молод. Но ведь я мертв. Зачем же жить мертвому?

И он улыбнулся тогда прямо в лицо Олегу, медленно засмеялся: смех у него был пугающий и сдержанный, за которым словно нарастал бешеный взрыв – злобы и ненависти, но к кому? Может быть, ко всему живому на земле. А может быть, и к самой жизни. У Виктора часто была на лице эта медленная жуткая улыбка, которая неизвестно во что могла разрядить-

ся. Поэтому с ним немного опасно было общаться. Но и в гневе, и в страдании его серые глаза были в глубине холодными, даже когда переполнялись ненавистью.

Впрочем, он любил петь и иногда пел старинные сентиментальные романсы.

Вне этих вспышек он был терпим, но отстранен. Однако его признавали во многих кругах «подпольного» мира Москвы за исключительную личность: это чувствовалось всеми.

И когда он читал среди друзей стихи Сологуба, многим становилось не по себе от страсти и от глубины его проникновения в подтекст:

«Когда я в бурном море плавал
И мой корабль пошел ко дну,
Я так воззвал: «Отец мой, дьявол,
Спаси, помилуй, – я тону».

И та медленная, но уже еле уловимая улыбка не сходила с его губ во время чтения.

Впрочем, иногда его закованные большие глаза наполнялись слезами; но были ли это слезы? И они не мешали ему улыбаться.

– Да, я умер, – осторожно говорил он Олегу. – Вся загадка в том, что я умер. И я не могу найти свое собственное Я. Я потерял его и умер поэтому.

Вот с таким человеком и решил Олег познакомить Сашу Трепетова.

Жил Виктор необычно даже для «неконформистов»: не имел нужных документов, комнаты, прописки. Ему помогали, как могли и чем могли. Немного подрабатывал он переводами, взятыми на другое имя.

Некоторое время он жил у Олега и спал под столом: оттуда протягивались его длинные худые ноги.

– Олег, почему ты привязался ко мне? – донесся один раз из-под стола его голос. – Я же страшный человек, и никому не сделал добра.

Где-то в провинции он даже сидел в тюрьме: за отсутствие прописки. Но начальник прогнал его, испугавшись речей Пахомова, особенно в том смысле, что ему все равно, где жить.

– Иди, иди отсюда, – тревожно говорил ему начальник. – Я тебе вот пятерку на дорогу дам.

И Виктор ушел, худой, величавый и неизменный. После этого он попал в Москву и случайно познакомился с Олегом, потом с Ларионом Смолиным, и таким образом его ввели в «неконформистские» круги...

Олег встретился с Трепетовым в молочном кафе на улице Горького. Он слышал, что Трепетов почему-то любил порой назначать важные свидания в молочных кафе. В Беркове и Закаулове не было необходимости – всю главную тяжесть «знакомств» брал на себя Олег.

Саша встретил его уже другой, веселый и оживленный, но сквозь эту «оживленность» пробивалась вдруг какая-то несоизмеримость, которая пугала Олега.

С Виктором уже договорились; он жил недалеко от центра, где его приютил одинокий двадцатисемилетний человек, живущий в двухкомнатной квартире вместе со старушкой соседкой, которая по доброте душевной привязалась к Виктору и даже подкармливала его.

Этого одинокого человека звали Игорь Кравцов. Был он художник, собиратель икон, бард, чуть-чуть юродивый, и кроме того обладал некоторыми суперсенсорными способностями. Эта «чуть-чуть юродивость» делала его особенно популярным среди подпольного мира. Он был один из тех редких людей, которые не только по-настоящему привязались к Виктору, но и могли терпеть его – до определенной грани.

Игорь – по сердечной «отключенности» – даже пытался свести его с одной своей знакомой.

Но та насмешливо сказала:

– Ты еще попроси меня переспать с ним, из милосердия. Но я не скорая помощь. И потом я не умею спать с трупом, даже поющим Вертинского.

В общем, она не поняла предложения Игоря.

...В этом визите Саша ни Виктор, ни Игорь не видели ничего удивительного. Все время происходили новые встречи. Но они слышали кое-что о Саше, и это немного волновало их. Но, конечно, Виктор и не подозревал об истинной цели посещения.

Они поджидали гостей на кухне; соседки не было...

Саша церемонно и даже как-то встревоженно поздоровался с Виктором и долго жал ему руку, хотя нелюдимый Пахомов тут же попытался вырвать ее.

Водка на этот раз была отвергнута.

– Вот и замечательно, – обрадовался Саша, потирая руки. – Давно пора прижать немного этот наш национальный порок. Никогда не забуду, как из-за него испортил отношения с академиком Бредовым... Давайте-ка лучше чайку?!

– С пирогами. Пироги у меня есть всегда, – растерянно пробормотал Игорь.

– Вот и чудно.

Потом произошла непонятная суетня: передвигали стол, что-то доставали, заходили к Игорю в комнату, поправляли...

И когда, наконец, уже надо было садиться за стол, Игорь, немного нервничая, вдруг осторожно прошептал на ухо Олегу:

– Ты знаешь, он исчезает.

И незаметно кивнул на Сашу.

– Что?! – ужаснулся Олег, вдруг вспомнивший рассказы про суперсенсорность Игоря. – Что ты мелешь? Куда исчезает? Очнись!

– Исчезает и все. Временами его нету.

– Не пори вздор. Видишь, вот он.

Игорь побледнел и съежился. Но пироги были на славу. Саша не уставал их расхваливать.

– Всегда бы нам блины да пироги, а водку – временами, – приговаривал он. – Не каждый день...

Почему-то чуть-чуть взбудораженный Виктор захотел тут же петь.

– Он любит только петь и молчать, – заметил Олег.

– Петь и молчать, – заключил Саша. – Я могу слушать только Лидию Русланову. Но молчание я могу слушать любое. А как, Виктор, вы любите музыку? – чуть удивленно спросил он, взглянув на него.

– Не очень. Она меня пугает.

– Пугает? Это уже неплохо. Чем?

– Не знаю.

– Я говорю о музыке не только как об искусстве, – Саша улыбнулся. – Скажем, как... об особой... не только магии... а больше. Кроме того, должен быть в сознании, внутри Я, один пласт...

– Нет, нет, по большому счету музыка меня даже отталкивает, «пугает» не совсем то слово. – Виктор вдруг стал разговаривать, что с ним случалось редко. – У меня много других забот. Найти в самом себе высшее бессмертное «Я» – цель человека на земле... Бога – внутри себя...

– Ну, ну, – опять удивился Саша и развел руками. Пока происходил этот разговор, Игорь тихонечко отвел Олега в сторону и прошептал:

– У него нет ауры.

– Что?!!

– Я ведь могу ощущать ауру вокруг человеческого тела. Ауру, которая отражает и состояние души тоже. Но это первый человек, у которого нет вообще никакой ауры. Я даже не

знал, что такое может быть. Кошмар, что-то мне не по себе, надо притупиться.

Олег захохотал.

– Что за бред?! Проверь свои способности. Что же, у него нет обычной души? Такого не может быть. Ты еще скажи, что он ходит без головы.

– А вот сейчас он опять такой, как люди.

– Ты путаешь что-то. Духовидец бедный! И не заори, неудобно.

Игорь опять съезжился и ушел в себя. Олег прошептал ему:

– Он просто вне твоего восприятия.

– Молчи!

– Блажен тот, кто любит и труп, и живое тело, и день и ночь, – послышалось им...

– Знаете что, Саша, погадайте нам, хотя бы по руке. Например, Виктору, – вдруг высказался подошедший Олег, поглядел на стол, где не было водки.

Тут уж Саше снова пришлось изумиться.

– Чем я обязан паскудной славе гадалателя? – спросил он. – Среди такой компании, – он подчеркнул.

– О, о Вас многое говорят... – прошипел из своего угла вернувшийся Игорь.

Он пил чай из блюдца, и большие уши его горели. Но потом он смутился и взглянул исподлобья.

– Так вы хотите, Виктор?

Мертвенно-странная, медленная улыбка прошла по лицу Виктора.

– Вообще нет. Но чтоб вы: пожалуй.

– Это очень просто, – заметил Саша. – Меня, кстати, почему-то не первый раз просят об этом. Люди заинтригованы днем своей смерти. Они тайно влюблены в него. Но вот беда: как только я взгляну на руку, линии на ней исчезают...

– Как у мертвецов! – ахнул Олег.

– Я не говорю, что они исчезают физически. Но они исчезают для моего восприятия. И рука делается чистой.

– Что это значит? – холодно спросил Виктор.

– Это может значить самое разное. Например, простой вариант: стоит ли так сильно интересоваться иллюзиями? Всеми этими так называемыми событиями жизни?

– Увы, – неопределенно согласился Виктор.

– А если уж кому очень надо, я могу порекомендовать отличного профессионала, астролога в традиционном смысле. Ибо те, кто в современном плане, потеряли самое важное. Но не советую. Пора, пора избавиться от мании жизни! Пора!

И Саша, рассмеявшись, взял аппетитный кусок пирога.

– Ну, а может ли быть гадание о том, что будет со мной после смерти? – спросил Олег.

– Почему нет? Но приучайтесь думать в парадоксальных категориях и никогда не забывайте об уровнях, о разнице между ними... Итак, разумеется, может. Ведь это все зафиксировано, на одном уровне, обычно недоступном – определенно и навечно, причем с учетом свободы воли, на других – неопределенно, только игра возможностей, но все-таки... Лишь эти последние квазификсации люди и могут воспринимать, но порой получается точное совпадение...

– Но для вас – и те послесмертные, условно выражаясь, «линии», путь и «квази-зафиксированные», приблизительные, с возможностью перемен, конечно, тоже исчезнут?

– Исчезнут, исчезнут, – добродушно кивнул Саша.

– Но все-таки, где это откопать? – захохотал Олег. – Две минуты жизни отдал бы за то, чтобы увидеть, например, свое будущее воплощение. Наверное, хорош будет монстр. Так как же? Не у того ли профессионала?

– Нет уж, за этим, пожалуй, надо съездить в Индию, – вздохнул Саша. – Но не торопитесь, Олег. Не все ли равно, какое

воплощение. И где, в каких мирах, ибо здесь вы уже не повторитесь. Не советую тратить время на второстепенное.

– Но как же жизнь, жизнь, жизнь! И будущая!

– Да что вы, Олег, все заладили: жизнь да жизнь. Дунул, и ее нет, вашей жизни, – засмеялся Саша не без странной иронии по отношению к собственным словам. – Эко мастерство иллюзии разгадывать. Не шутите уж. Лучше давайте и вправду споем.

Игорь вдруг вздрогнул.

– Что, опять? – шепнул Олег.

– Он не только человек. Я вижу это!

– Не бредь, не бредь. Сиди спокойно... Впрочем, все может быть.

Между тем у Саши с Виктором завязался какой-то совершенно посторонний разговор, и Олег, душевно усмирив Игоря, стал прислушиваться. Саша довольно отстраненно, чуть холодным голосом, говорил о том, что сознание человека и природа глубоко взаимосвязаны. В общих чертах речь шла о том, что современный человек заключил себя в тюрьму рационализма, отрезав себя тем самым и от Бога, и от понимания природы; что многие способности, свойственные человеку античных времен или даже средних веков, утрачены, и всего лишь 400–500 лет назад человек мог видеть те психические силы в самой природе, контакт с которыми сейчас почти закрыт для него; и что – в соответствии с этой тенденцией в человеческом сознании – мир параллельно тоже изменился: он стал более «материализованным», более «узким» и оторванным от своей духовной подосновы: вот почему теперь почти не происходит тех так называемых сверхъестественных явлений, о которых так много писали древние; и вот почему натурфилософия древних, ее истинный смысл – запечатанная книга для современного человечества, которое приобрело власть только над одной стороной

природы, потеряв ключи ко всему остальному в ней, более важному... и что это может очень дорого ему обойтись...

Но в конце концов Саша вдруг остановился, спросив:

- Однако, я не понимаю, Виктор, зачем мне рассказывать вам эту азбуку, я не уловил, на что вы намекали?

- Я намекал на самоубийство. Это касается одного моего приятеля. Он хочет вернуть билет Творцу.

Саша рассмеялся.

- Ну, вот этого уж я не ожидал, что у вас есть такие малоквалифицированные приятели. Ведь известно, физическое самоубийство - не возвращение билета, а наоборот - получение волчьего. Прежде всего еще надо уметь вернуть билет. Это не так просто, как удавиться. В действительности это требует еще большего труда и квалификации, чем некоторые так называемые пути к Богу. Только для того, чтобы объяснить, что это значит - настоящее возвращение билета, или подлинное самоубийство, мне потребовалось бы исписать целые тетради эзотерических текстов, если учесть все импликации. Я уже не говорю о практике. Так что отговорите как-нибудь вашего приятеля. Больше этой глупости ничего нет, если не считать концепции, согласно которой наш мир, физическая Вселенная, вмещает всю реальность. Когда живешь в век глупцов, надо следить за собой.

- Да он просто не то от тоски, не то от любви. Влюбился в девчонку, у которой становятся невероятной красоты глаза, когда они заполняются слезами. Ничего, мы его подлечим... А все же, ох, сдохнуть запросто - и то нельзя... - вздохнул из своего угла Игорь. - Эх, хорошо бы выпить сейчас, ребята. Самое время...

- Да почему же не выпить? - согласился Саша. - Понемногу очень даже неплохо.

И вдруг откуда-то появилась бутылка.

- Ну вот она, родная, заваливающая. А то пироги сохнут во рту, - обрадовался Олег.

И радостный напиток был разлит по стопочкам. Загудел холодильник.

– Вздрогнем, – засиял Олег.

– Вздрогнем!

И все чокнулись.

– Но можно было бы и без водки, – выпивши, заключил Саша. – Чай с пирогами где-то не уступает водяре. А, как, господа? Может, вернемся к чаю?

Все как-то растерялись от этого предложения.

– С вами забудешь об интеллекте, – вдруг проурчал, обращаясь к Саше, Игорь.

– Это вы хорошо сказали, – одобрил Саша.

– Круг, круг – мой любимый, но недоступный символ, – медленно проговорил Виктор.

– Он у него распадается, – заметил Олег.

– Да, что-то у меня пропало, – сказал Виктор. – То, чего, может быть, и не было у многих других... И не знаю – найду ли?

– А если найдете, захотите ли опять потерять? Потерять, в высшем смысле? – спросил Саша.

– Ну уж нет! Зачем?! Никогда. Я буду держаться за свое сокровище.

Игорь вдруг встал и, весьма многозначительно кивнув на Сашу, поманил Олега.

– Мы выйдем ненадолго с Олегом – поболтать... Вот с этой водочкой, – проговорил он.

И они ушли в комнату, закрыв за собой дверь.

Виктор и Саша остались одни. Фигура Саши как-то потемнела.

– Я мучаюсь, – спокойно и медленно говорил Виктор, закурив, – потому что не могу найти то... вечное, высшее Я... Все распадается, как сказал Олег, но он многого не понимает.

Саша молчал.

– Полнота... – продолжал Виктор. – ...Найти себя... И почему я разрушаюсь, когда другие живут без всякого намека на это вечное Я, и прекрасно живут... А я разрушаюсь!.. Без этого. Но об этом долго рассказывать. Обо всем, что со мной случилось. И о внутренней катастрофе. Тогда было бы более понятно.

Его глаза чуть расширились, и он пристально посмотрел на своего собеседника. И усмехнулся.

– Вы, Саша, очень странный. И так много видите. Но загадка в том, почему вас совершенно не интересует то, о чем я говорю: то есть высшее Я... Вы ведь должны это понимать. Но я вижу: вы это знаете, но вас это не интересует... Можно, я пырну вас ножом?

Саша сделал какое-то непонятное движение рукой, и Виктор рассмеялся.

И вдруг он взял книгу, которая лежала на подоконнике. То была Bhagavad-Gita, и он показал ее гостю.

– Читаете? – спросил Саша.

– Да, и это из лучшего, что я читал. Но от теории до практики – у меня во всяком случае – большой шаг. Ведь этим надо овладеть практически... реализовать на себе.

– Это священная книга. И что же вы в ней нашли, хотя бы теоретически? – спросил Саша, в какой-то задумчивости, и глаза его вдруг стали совершенно отсутствующими.

– Путь к единству с Богом, обретение вечности...

Саша вдруг возвратился и посмотрел на Виктора.

– Давайте чайку?... К единству с Богом, так вы сказали. Очень хорошо! Но ведь оно нам в потенции дано, это соответствует внутреннему в нас, отвечает нашему высшему чистому беспредметному состоянию... В сущности, хотя большинство, как слепые в этом плане, это очень просто... Помните Рамана Махарши, может быть? И как жаль, если вы думаете, что потеряли его, хотя я не могу понять, как такое могло

с вами случиться? Тут что-то не то. Может быть, вы и не имели ничего?

– Долго рассказывать.

– Ладно, оставим, – голос Саши был тих, и уходил куда-то вглубь. Слышно было даже тиканье часов на стене. – Но вот один момент. Так ли это запредельно, раз оно нам – в принципе – дано? Но ведь вы, кажется, и не стремитесь к истинно-потустороннему?... Вот эта священная книга, – и Саша взял ее со стола, – одна из величайших Книг, написанных свыше, от Духа... Но главное там, как и в некоторых других подобных книгах, – то, чего там нет. Самое главное находится не в буквах, а между буквами. То, что там есть, в самом тексте – только тело, а не само трансцендентное. Эти книги надо прочесть так, чтобы увидеть в них то, чего в них нет. И ни в каких комментариях, даже самых эзотерических, вы это «то» не найдете. Но если увидите, только тогда вам начнет открываться то, что не содержится ни в религиях, ни даже в высшей восточной метафизике, по крайней мере, в ее «тексте».

– Хватит, хватит, – вдруг заговорил Виктор, и глаза его наполнились слезами. – Я не понимаю, о чем вы говорите. Я люблю эту книгу, и с меня хватит ее. Я боюсь, что она мне не поможет, ибо со мной что-то происходит... А вы очень странный человек, очень, очень. Простите, что я хотел пырнуть вас ножом. Вы почти не среагировали на мои слова, потому я и не двинулся. Лучше уходите. Простите меня.

– Уйду, Виктор, уйду. Это не проблема. Раз вам так плохо. Мы просто мирно поговорили. За пирогами.

– Но с другой стороны, лучше не уходите.

– С другой стороны я и не уйду. Я уйду только с одной стороны.

– Да. Налейте-ка водки.

– Прошу. Тут еще осталось. О чем это они шушукуются, там в комнате. Наверное, обо мне. Этот ваш Игорь чересчур нервный. Но ничего, обойдется.

Игорь и Олег, покрасневшиеся, с горящими глазами и почти опустошенной бутылкой, вдруг появились на кухне.

Конец встречи прошел как-то тихо, сумрачно и безболезненно. Быстро доелись пироги, внезапно остановились часы на стене, куда-то заторопился Игорь.

Вышли на улицу, где уже гулял обезумевший ветер, и простились.



Владимир Ковнацкий | В Мастерской | 1967 год

Глава пятая

Через два дня Олег встретился с Берковым и Закауловым рано утром у памятника Пушкину и рассказал им о посещении Виктора Пахомова.

- Ты понял что-нибудь? – спросил Берков.
- Ровным счетом ничего, – пожаловался Олег.

Это было непохоже на него, не в его манере было признавать черту, за которой виделась для него одна тьма.

Впрочем, он добавил:

– Были весьма необычные, парадоксальные вопросы со стороны Саши.

– Интересно.

– Кроме того, мы с Кравцовым часто уходили в другую комнату: он вел себя как-то сумеречно в присутствии Саши. Виктор оставался с Сашей наедине, и я не знаю, о чем они говорили.

– И ничего о человеке Востока?

– Ничего.

– Кто же теперь следующий?

– Мы же решили: Ларион Смолин.

– О, это крепкий орешек, – усмехнулся Борис. – Пойдем на этот раз вдвоем, я, ты и Леша, только надо выбрать время.

– Я договорюсь, – ответил Олег, – а теперь двинемся в Ленинскую библиотеку.

– А мне не до книг сейчас, – вздохнул Закаулов, все еще расстроенный недавней встречей со Светланой Волгиной. – У меня душа чего-то не того. Я – в другую сторону.

Ленинская библиотека, и до известной степени Историческая, сыграли особую роль в жизни и истории неконформистского общества. В 1957 году книгохранилище библиотеки внезапно стало более или менее доступно для читателей.

Книги, которые раньше неммыслимо было достать, теперь можно было прочесть в читальных залах библиотеки; особенно явно были сняты оковы с мистической и оккультной литературы. В 1959 году этот период кончился, но до этого времени много книг было переснято, прочитано и так далее; и кроме того, возникла традиция встреч в кулуарах обширных читальных залов, да и смягчения некоторые в смысле выдачи книг остались. Поэтому посещения продолжались. Вокруг читальни создались целые легенды; много людей, подпольных интеллектуалов, мистиков, поэтов, художников, писателей и всяких ищущих встречались, знакомились здесь, проводили время, читали ранее недоступную литературу, старые журналы, в перерыве – курили, обсуждали, и не только книги, но и события жизни, и саму жизнь.

Кулуары, курильни превратились в клубы, где каждый узнавал своих по особым знакам. Читальня переросла свое назначение; отсюда уходили на вечеринки, чтения на квартирах; здесь можно было встретить людей из разных кругов. Появились завсегдатаи читальни, бродяги-интеллектуалы. Многие приходили сюда уже не читать, а встречаться. Здесь обсуждалось все: от христианства до дзен-буддизма.

Потом значение читальни стало падать: духовное подполье разрослось невероятно, откуда-то появились частные библиотеки с редкими книгами, по рукам стали ходить книги, переводы, перепечатки... И никакие читальни Москвы уже не могли вместить ищущих: все расплодилось по квартирам, кружкам, дачам...

Интересы в основном были гуманитарные: искусство, литература, религия, метафизика, оккультизм и так далее.

Вскоре этот гуманитарный неконформистский (или «подпольный») мир стал невероятно сложен и богат, с различными направлениями интересов... Здесь было все: и глубинное погружение в русскую классику 19-го века, и открытие скры-

тых имен русского искусства 20-го века; новаторские искания нового времени, и уход в принципы древнего искусства. Философские имена, задевающие за живое, естественно, не оставались без внимания... В сфере чистого духа также было много исканий, главным образом в русле Православия и восточной метафизики. И кроме того, некоторые пытались создать свое: и возникали то глубоко оригинальные, невероятные идеи и течения, то попытки таинственного, озаренного синтеза. Не особенно отставала и практика.

К концу шестидесятых, началу семидесятых годов перестал даже быть, на некоторых уровнях, «подпольным» неконформистский мир: его гуманитарные интересы стала разделять и часть официальной интеллигенции. Все достаточно усложнилось и перемешалось: на одном и том же вечере или чтении встречались и профессора, ученые, представители обычной интеллигенции, самые отчаянные поэты и художники, неконформисты, работающие ночными сторожами.

Однако читальня Ленинской библиотеки, сыгравшая такую роль в начале неконформизма, никогда не забывалась полностью.

Вот в эти-то кулуары и направились Олег с Борисом. Сначала они заказали книги, получили их и углубились в чтение в пустынном утреннем зале. Одинокие девушки, в нежном свете, любуемся из окон, проходили иногда мимо них и рассаживались по своим местам. Одна, севшая рядом с Берковым, даже глубоко вздохнула, когда бросила взгляд на заглавие книги, которую он читал.

Часа в три друзья потянулись и направились в курилку. В коридорах библиотеки они встретились с Андреем Крупаевым, который считался в московском подполье немного загадочной личностью. Это был человек лет тридцати шести, худой, с взъерошенными волосами и горящими глазами, которые иногда вдруг тускнели и как бы уходили в небытие. Вы-

ражение крайнего напряжения на его лице часто сменялось безличной покорностью судьбе. Отец его, профессор биологии, отсидел свое при Сталине, потом вернулся, больной и измученный, и поселился в Рязани. Мать Андрея во времена Сталина отказалась от отца, скрылась на Севере. И Андрей рос полным сиротой. Он, однако, окончил консерваторию и в юности вел беспорядочную и пьяную жизнь; но потом вдруг все бросил – и зажил отшельником и анахоретом. В чем лежали его подлинные интересы – никто не знал, но постепенно он вышел из тьмы и стал приобретать в неофициальной Москве известность как библиофил. У него была одна из лучших богословских библиотек в Москве – и неизвестно было, как он все это умудрился приобрести. Говорили, что помогали дальние родственники. И кроме того, у Андрея были самые невероятные связи на черном книжном рынке, некоторые книги в его библиотеке были настолько редкими и ценными, что к нему частенько заглядывали профессора богословия из Духовной академии. Но у него были и другие книги: тоже редкие и ценные, но уже по колдовству, древней русской магии и что-то из глубин веков. Часто у него появлялись какие-то совсем непонятные типы, и всю ночь горел свет в окнах его квартиры в деревянном домике на Плющихе. Его жена, Зина, совершенно тихое, молчаливое существо, во всем подчинялась ему. Часто он ездил к отцу в Рязань, тот женился там и жил благополучно.

– Что слышно у вас, Андрей? – осторожно спросил его Берков.

– У меня никогда ничего не бывает слышно, – ошеломил его Андрей. – Слышно бывает у вас: и всякое неприятное...

Разговор не состоялся, и Олег с Борисом прошли в курилку, где уже виделись хорошо знакомые лица: не говоря о Муромцеве, который сумрачно стоял в стороне, здесь оказались Владимир Омаров, солидный художник-неконформист лет сорока, который держал у себя дома настоящий художественный салон,

и еще двое ребят из Института мировой литературы. Последние, несмотря на большое официальное положение, отличались широтой взглядов и свободным посещением подпольных чтений и выставок.

Они окружили Олега и Бориса, и сразу завязался разговор, правда, довольно спокойный. Потом, когда подсоединился Валя Муромцев, беседа приняла более волнующий оборот.

Наконец один из литераторов, Солнцев, спросил Олега:

– Олег, все-таки считаете ли вы возможным существование литературы, которая творится только в подполье, в самиздате, и нигде не публикуется?

– Да она же есть налицо, – удивился такому вопросу Берков. – Вот вам ее представители...

И он показал на Олега и Муромцева.

– О нет, я подразумеваю психологическую сторону. Как возможно такое?

– Очень возможно, – холодно ответил Олег, – и даже есть ряд преимуществ. Например, свобода: полная свобода, какой не было нигде и никогда, – продолжал он уже горячо, – потому что даже в самых лучших условиях всегда было давление: общественного мнения, условностей, самой гласности. Мы же абсолютно свободны, до конца, до последней бездны души! Другое: никакая публикация или официальное выступление не сравнится с подпольным чтением лицом к лицу... Здесь такая невероятная отдача, слияние, духовный запой! Меня знают, меня любят – чего ж еще?! Пусть относительно немногие, важен уровень людей, а не количество. В Древней Греции все передавалось устно или через рукописи – как и у нас сейчас. И какая была поэзия!

– Кроме того, рукописи не горят, – продолжил Берков. – В будущем, я думаю, все будет издано, и в этом странном будущем прекрасные русские люди будут читать наши книги, и переживать... и поражаться, какими были их...

– Ну, прекрасные русские люди, особенно девушки, и сейчас восхищаются Олегом, – улыбнулся Солнцев, – насколько я слышал...

– Конечно, никто не отрицает негативных сторон, – прервал Олег, – для меня главная сила публикации в том, что после нее ты уже уверен, что все сохранится, все запечатлится. Вот, пожалуй, в чем главный вопрос. Хотя Боря уверяет, что рукописи не горят, но были случаи...

– Ну, а определенный психологический стресс, что вы как бы вне...

– О, это уже зависит от силы личности, – ответил Берков. – Происходит отбор по качеству... Послушайте, самый лучший подход: творить так, как будто никакой бюрократии не существует... Если вы будете злиться, мучаться, думать, реагировать, – то вовлечетесь во внутреннюю полемику, и искусство этим снизится. Надо быть выше этого. Да, где-то это катастрофа, землетрясение, что угодно, но когда происходит подобное в природе, вы не реагируете на это сильно душой, вы просто стараетесь выжить и знаете, что здесь лбом стену не прошибешь: это происходит и все. Глупо негодовать на землетрясение.

– Позвольте, позвольте, – вмешался другой литератор. – Но это же социальное явление. Здесь можно изменить, убедить, например, эту самую бюрократию...

– Нет, нет, я не отрицаю этого, естественно надо пытаться изменить. Это другая сторона медали, – возразил Берков. – Но я говорю о позиции художника, когда он творит в такой ситуации. Когда он пишет, он должен быть свободен и писать так, как будто никакой бюрократии не существует вообще. Не фиксироваться на этом. Не быть рабом негативных чувств. Не всякий, конечно, рожден перенести...

– Всего лучше, когда пишешь сказки, – разрядил атмосферу Муромцев. – Особенно про покойников. Впрочем, я шучу:

бывают сказки поглубже и пострашней жизни, особенно если они выражают кое-что существующее, но скрытое.

Дым от папирос заволок курильню. Постоянно входили и выходили какие-то люди. Слова исчезали в воздухе...

– Я, кстати, знаю одного незаурядного человека, он занимает довольно важное положение, – говорил Солнцев, – и он убежден, что верхам самым выгодней изменить свое отношение к творческой интеллигенции и контролировать культуру более тонкими методами. Он ругается, там, наверху, что иначе они уморят всех наших гениев. Но ему отвечают, что еще не пришло время для таких изменений.

– Олег Тимофеевич, – отозвал Олега в сторону Омаров, хранивший все это время чуть-чуть скорбное молчание (при Сталине он отсидел свое в лагере, но сохранил, однако, необычную уравновешенность), – что-то вы нас с Аллой Николаевной совсем забыли, приходите к нам на чтение... Мы уточним когда. Будет много интересных людей... И вы, Валентин, тоже приходите, – обернулся он к Муромцеву. – У нас любят ваши вещи.

Официальные литераторы попрощались и ушли.

– Они хорошие ребята, – посмотрел им вслед Омаров, – но не во всем еще секут нашу ситуацию...

Олег представил Бориса, с которым Омаров был почему-то незнаком, и все трое направились к выходу. Валентин же остался в библиотеке.

День был солнечный, летний, чудесно-московский с его неповторимыми запахами и лаской. И Олег чувствовал, что еще встретит кого-нибудь из своих. На этот раз мелькнула Светлана Волгина, помахав рукой и сказав, что спешит к Ниночке Сафроновой.

– К Ниночке Сафроновой! Ничего себе, – проговорил Олег, когда Светлана исчезла. – Не знал, что они знакомы. Ниночка Сафронова! Вот уж кто действительно гениально-безумна среди наших подруг по подполью!

– Слышали ли вы, Олег, что-нибудь о Кирилле Лесневе? – спросил Омаров. Они были уже в саду при библиотеке.

– О, да! Эзотерики, восточная мудрость...

– Я не очень-то смыслю во всем этом, – продолжал Омаров, – но я хотел бы как-нибудь его пригласить на вечер к себе... Не знаю, только, как до него добраться.

Сад при библиотеке был нежен, затаен и словно пронизан пушкинским временем...

Омаров уговорил Олега и Беркова заглянуть по пути в Артистическое кафе. Там они втроем уютно отдохнули – очевидно, даже в двадцатом веке есть места, где можно расслабиться. Наконец, простились в предвидении большого вечера у Омаровых.

– После Владимира я всегда в размягчении, – сказал Олег Борису, когда они садились в троллейбус.

Они спешили на квартиру Олега, куда должны были прийти «книжники», то есть люди, продающие малодоступную литературу на черном рынке.

«Книжники» пришли вовремя, но не успели они вынуть свой товар, как раздались неожиданные шесть звонков и появилась Катя Корнилова.

– Все книжками интересуетесь, – мрачно заметила она. – Вы хоть знаете новость последнюю, страшную: Максим Радов умирает!

– Как умирает?! – содрогнулся Олег, и холодок прошел по спине.

Максим Радов был молодой художник-неконформист, достаточно известный в Москве, и было ему всего двадцать пять лет. Слава его только начала восходить, и пророчили ему необыкновенное будущее.



Евгений Головин | Энигма | 1979 год



Алексей Смирнов | Семья | 1960 год

Глава шестая

В есть о том, что Максим Радов «умирает», ошеломила всех знавших его, а знали его многие. Было известно, что он болен, но никто не ожидал такого жуткого поворота. Оказалось, что окончательный диагноз (какая-то редкая болезнь) практически не дает никаких надежд на выздоровление. Причем все должно кончиться довольно быстро. И наконец, так получилось, что диагноз не удалось скрыть – в том числе и от больного.

Приговор этот совершенно сразил Радова. Правда, теоретические надежды – и то только на чудо – оставались: бывали единичные случаи спонтанного самоизлечения от этой болезни; но их было до невероятности мало, всего несколько за всю историю медицины. К тому же силы его быстро таяли, но в больнице Максим не хотел долго оставаться: он измучился там... Лишь эти теоретические надежды на самоизлечение, о которых он где-то вычитал, давали ему возможность не сойти с ума от ужаса. Максим был абсолютно не подготовлен к смерти – ни в каком смысле.

– Нежен он очень, – говорил один странный, закутанный в одеяло старичок с соседнего двора. – Я когда таким в глаза гляну, сразу чувствую – скоро умрет. Молод, за жизнь цепляется, себя любит, а еще не развился до себя – и теперь, бац, умирать. Дрожи в нем много, да и картины свои уважает. Только ведь начал рисовать... дитя! На том свете таким плохо бывает. Тенью картину не нарисуешь.

– Не пужай уж, – охали бабки. – Ишь в одеяло закутался, а на улице жара. Мать вить у него, горемычного, одна остается. И папаша спился – на Дальнем Востоке. А Максим и чичас жить как хочет. Да и тень живет и очень бывает охоча до жизни... Оох... И правду свою имеет, тень-то...

Максим очень похудел, посерел за это время.

По контрасту его приятель, Валя Муромцев, который писал рассказы о покойниках и гробах, был полненький, в некотором смысле жизнерадостный, обладал завидным здоровьем и мог выпить за один присест поллитра водки. Но и Максим, когда пришла ему года два назад слава, по-своему расцветал, и даже дворники признавали его за «поэта».

Как почти все в неконформистском мире, он был верующий – но в его случае эта вера была неглубока, он не был ею пронизан до конца, ему не хватало практического духовного опыта, и он не превратил эту веру в постоянное бытие. Поэтому, когда его настиг страшный удар, она рассыпалась, как карточный домик, и он не смог найти в ней убежища. Он просто как бы забыл о ней; все вытеснил только один бесконечный вопль: «Не хочу!» На него стало страшно смотреть: лицо его побелело, губы и руки часто дрожали, глаза не могли ни на чем остановиться и словно перестали видеть. Он постоянно плакал. Среди ночи, еще в больнице, он часто поднимался с постели, закрывал лицо рукой и бормотал: «Что же делать... что делать... что делать», – с такой тоской, что сосед его по койке просыпался во тьме, и кричал внутри себя, закрывшись с головой одеялом.

Он умолял врачей о спасении, протягивая к ним свои бледные, трясущиеся руки. Они не выдерживали тоже, плакали, особенно одна молоденькая женщина-врач, но были бессильны. На какие-то мгновения он иногда успокаивался, но потом, вдруг, во время игры в шашки или в домино, страшная внутренняя судорога, шедшая из души, искажала его лицо; он с криком бросал все, отходил в сторону и стонал: «Что делать?... что делать?»

При этом он даже не отдавал себе отчета в том, что происходит; все казалось ему кошмарным сном, вдруг ставшим явью; мысли его путались, иногда возникала слабая идея о ду-

ше после смерти, но она была тусклой и неопределенной и тут же гасилась бесконечным ужасом, который он не в силах был даже выразить перед собой...

Это была тотальная катастрофа, равносильная концу мира – гасло все: небо, звезды, очи русских женщин, песни, стихи, краски, гасло его собственное тело и само его представление о себе. По крайней мере, так он чувствовал, и этот невыразимый ужас был бесконечен, и что самое главное, не было никакого выхода, ничего нельзя было изменить, и это придавало жизни чудовищный и нечеловеческий трагизм, ибо во всех других случаях всегда можно было что-то предпринять... Даже в тюрьме, в лагере был срок, который могли сократить, и оставалось по крайней мере самобытие, мысль, тело, воздух и небо. Здесь же как будто бы ничего не оставалось: только один смердящий труп. И эта необычность, невозможность, так резко отличающие смерть от всего другого, какая-то высшая, холодная, непостижимая ее внечеловечность раздавила Максима.

Мысль о том, что в действительности смерть – не конец, а совсем напротив, начало нового бытия, была почти полностью уничтожена этой его личной катастрофой: именно потому, что раньше эта мысль в нем была только теоретической, или эмоциональной. К тому же атеистическое воспитание в детстве крепко держало в своих когтях его подсознание.

Итак, с этой стороны никаких надежд тоже не было. И, конечно, при его бешеном желании жить, до самой последней капли спермы, при его страсти к славе, к солнцу, при страхе потерять все, при его художественной впечатлительности, утонченности, нервности и обычном артистическом индивидуализме, он не выдержал бы долго: сошел бы с ума еще до того, как умер. Чуть-чуть спасла его нелепейшая надежда на чудо, что-де были когда-то несколько случаев нежданного самоизлечения. Может быть, он и не сошел бы с ума, но, вероят-

но, непрерывно, до самого последнего часа (а говорили, что он мог бы протянуть еще полгода) был бы, неподвижно глядя в одну точку, никуда не двигаясь. И возможно, это было бы лучше сумасшествия. Но так как была надежда на «чудо», он мог порой выходить в «мир»: что-то пришептывать, дрожать, плакать, бормотать. Раза два он даже пел.

В общем, в таком состоянии он попал из больницы домой, в свою комнату в Гнездниковском переулке. Был он совершенно беспомощен, и из-за истерики и надрыва забыл даже, как заботиться о себе. Отец его уже давно проводил время в глубоком запое, вне Москвы, а старушка-мать сама была еле жива от горя. Но она, конечно, приползала помогать ему...

В глубине души Максим все-таки осознавал, что в этот окончательный ужас его ввергла мысль, что смерть – абсолютный конец. Это была последняя точка, которая выводила его из себя и от которой можно было действительно помешаться. Пройдут миллионы лет – и тебя не будет, никогда больше, одна черная яма. Навсегда. Если бы не эта мысль, то не было бы у него этого жуткого, нечеловеческого воя среди ночи. Когда изнутри что-то приближалось... Да, конечно, в любом случае было бы отчаяние, слезы, страх за уходящую жизнь, но при отсутствии этой мысли не было бы последней точки, последнего ужаса, сводящего с ума: конец всему.

Итак, он был отрезан от реальности духовного надсмертного мира – а одной «веры» как утешения было недостаточно: она тотчас улетучивалась, когда наступал ужас. И ему никто не мог помочь: ни мать, ни друг, ни государство, ни наука. Весь наш век, пути, проникшие в подсознание с детства – разрушили все прежние основания, хотя бы для так называемой «наивной» веры, которая исходила из источников уже потерянных, и которая была бы теперь для него как дар свыше. И поэтому, чтобы победить этот мир, ему нужно было пройти иной, огромный духовный путь, изменить сознание, вступить в контакт

с высшей реальностью, познать и понять (в глубинном смысле этих слов) слишком многое. Но как и большинство современных людей, он был близок к черте, за которой начинается тотальная обреченность.

...Кате Корниловой выпало на долю одной из первых в Москве услышать страшную весть о Максиме и принять ее на себя. Она любила его живопись, и где-то он ей нравился сам – у них были добрые дружеские отношения, которые, однако, легко могли перерасти во что-то еще более нежное...

Утром после бурного и сумасшедшего вечера, она встала бодрая, веселая и с легкой головной болью. Катя жила в отдельной квартире вместе с шестилетней дочерью. Девочки как раз не было дома – ее забрала к себе бабушка. С мужем Катя развелась – но он помогал ей.

Не успела она выпить заветного пивка из холодильника, чтобы опохмелиться, как посыпались телефонные звонки: от поклонников, от друзей, из «кругов». После этого она выяснила для себя более четко, где она была и кто сопровождал ее домой.

В одиннадцать часов утра к ней должен был заехать по большому делу ее знакомый, довольно необычный человек из круга каких-то скрытых искателей мудрости (восточного плана).

Человек этот, лет тридцати, по имени Юрий Валуев, пришел вовремя, не опоздал, и даже принес с собой пива. Она приготовила утомленному искателю истины яичницу с колбасой... Они уютно и спокойно обговорили все и медленно вышли на улицу – это был новый район Москвы: свежесть, зелень, снующие люди, голоса.

Говорили они о чем-то далеком, и пьяные не обижались на них. Неожиданно Катя спросила:

– У тебя не бывает такого состояния: внезапно вспыхивает «Я», это необыкновенно... не чувство личности, а то, что стоит за... Просто чистое Я! Я есть Я! Но мое Я!

Он бросил взгляд на нее.

– Я думаю, это такая тайна, – быстро сказала она и посмотрела на него, как будто дальше нельзя было говорить.

Он странно молчал.

– О, Юра, какое это торжество, ошеломление... Один раз у меня это было вечером на улице... Я не могла идти... Что-то во мне возникло: как солнце, и я мысленно кричала: Я... Я... Я!.. Я есть! Мне странен был даже звук собственных шагов... И я могла сойти с ума, от того, что я – это я... То Я... И я чувствую: это такая безмерная ценность, такая чудовищная, ни с чем не сопоставимая ценность, которую мы даже не в состоянии осознать в обычном состоянии... Это трудно передать в словах... Я начала шататься от счастья... нет, больше, чем от счастья. Счастье – это смешно по сравнению с этим. От того, что Я есть, что Я есть Я!

Она выговорила все это и опять взглянула на него, и, увидев на его лице какое-то молниеносное внутреннее подтверждение, сразу замолчала. Только одно слово сорвалось с его губ, как трепет, идущий из бездны, и она еле-еле расслышала его: и было это слово «бессмертие». Одно только слово, слаще которого нет ничего ни на небе, ни на земле.

И больше они не говорили об этом, точно заключив молчаливый союз.

В центре Москвы она покинула Юрия, направляясь к своим дальним знакомым – по делу, и касалось оно организации выставки художников-неконформистов. Катя попадала в разные компании, то в кафе, то на квартиры. Гул голосов так и стоял в ее ушах, и она совсем забылась в этом крике и в хлопотах. Наконец она очутилась в мастерской двух ее знакомых художников. И тут она услышала эту страшную весть: о Максиме.

Художники, приятели Радова, проявили явную растерянность. Они узнали о Максиме прямо от его родственников и сомневаться было нельзя.

Убитой Кате вдруг показалось, что молодые люди почему-то струсили.

– Неужели вы не пойдете его навестить? – спросила она.

Они сидели за круглым столом.

– Конечно, пойдём, – ответил один из художников. – Но я просто не знаю, что говорить. Если он при смерти, и знает об этом, что сказать? Что делать?... Он же мой друг... А я не смогу ничего... Буду что-то бормотать, глупо улыбаться, мне будет стыдно смотреть ему в глаза...

– Этого я не вынесу. Я тут же сбегу. Лучше вообще не ходить, – перебил другой художник.

– Ну и трусы же вы, – удивилась Катя.

Ее охватила щемящая жалость к Максиму, даже капли пота выступили на лбу. Парадокс ситуации и ужас перед ней ошеломлял и мучил одновременно. И странно: Максим вдруг стал в ее глазах роднее и значительней. Все ее внутреннее внимание сосредоточилось на нем. «Сможет ли он это выдержать? – подумала она. – И что было бы со мной, если бы я была на его месте?» Стало жутко. И в то же время появилась упорная мысль: надо что-то делать. Резко поднявшись из-за стола, не прощаясь, она вышла на улицу. И вот в этом-то состоянии она оказалась у Олега, когда он с Берковым принимал книжников...

Олег и Берков знали Максима гораздо меньше, чем Катя. И она не ждала от них чересчур личной реакции. Так и произошло. Книжники, которые знали Радова поближе, среагировали однако еще хуже – во всяком случае так почувствовала Катя.

Может быть, ей просто нужно было сейчас нечто большее, чем человеческая реакция, тем более человеческое в такие моменты бывает иногда и подленьким: слава Богу, что не я.

Она вопросительно посмотрела на Олега, и сказала:

– Я боюсь, сейчас некоторые разбегутся от него.

– Ничего себе! – был ответ.

– Надо ему помочь. Я пойду к нему завтра. Одна.

– Я довольно плохо с ним знаком, – проговорил Олег. – Но если я буду нужен, зови. Единственное, что я сейчас могу сделать, это поговорить с одним медицинским светилом, как ни странно, моим поклонником – он даже помогал мне с работой в смысле переводов.

На следующий день Катя ехала к Максиму со смешанными чувствами: страха, жалости, стыда и чуда, но главным было желание помочь найти выход. Был серенький, неуютный, дождливый денек, словно закутывающий людей в слезы жалких чертенят. Люди куда-то спешили, и уличной сутолоке не было конца: гудки машин, беготня, встречи, запахнутые двери магазинов. Какой-то малыш орал так, что Катя испугалась его крика.

И вот она у знакомого дома. Все как обычно: даже появилась из парадной двери, торопясь, соседка Максима – он жил с нею в двухкомнатной квартире. Дома ли он? Может, ничего и не было?

Уже по его лицу она поняла, что все было. И сразу нервно настроилась на обман (и самообман): еще ничего не потеряно, надо лечиться.

Он все объяснил ей, и она сникла, хотя какая-то фантастическая надежда у него была. Но у нее – уже нет. Она не знала, что сказать, и совсем растерялась. Не спросить же: не сходить ли мне за покупками для тебя? Да он и не нуждается ни в чем. Хотя Максим был один в комнате, чувствовалось, что за ним ухаживают: все было чисто и прибрано, впрочем, с какой-то неестественной аккуратностью. Это поразило Корнилову, ей показалось, что в этой излишней опрятности есть что-то не от мира сего. Почему-то ей бросился в глаза бритвенный прибор.

Максим был бледен, изможден, еле волочился, но постель была убрана, и отдыхал он, очевидно, на диване. Он не смотрел ей в глаза.

Она, наконец, спросила:

– К тебе приходят?

– Приходят, – призрачно ответил он.

Фигурка Кати с отливающими золотом волосами по-никла; она застыла в нерешительности и раздумьи. Но что-то поднималось в душе.

И вдруг Максим заплакал. Это было так страшно, что хотелось завывать.

Он сидел на диване, закрыв лицо руками, и она слышала:

– За что?.. За что?.. За что?..

Катя, собрав все силы, подошла и быстро обняла его:

– Это тайна, Максим. Ты понимаешь, что это тайна?! А не слепая случайность. Ты не исчезнешь... И когда-нибудь узнаешь все.

Но он рыдал и словно не слышал ее. Его отчаяние передавалось ей, пронизывая ее до последней кровинки. Надо было сопротивляться. Вот стакан воды. Она присела рядом с ним на пол, на корточки. И начала что-то говорить, полупшепотом, чувствуя, что слова ее бессмысленно утопают в его душе, ставшей ужасом.

Вдруг ослепительная догадка пронзила ее.

– Максим! – закричала она и встала. – Ты потерял... Ни за что!

Ее расширенные глаза прямо смотрели на Максима, пытаясь найти его взгляд и влить, влить в него надежду.

Но в его глазах она не увидела ничего... Они превратились в одни слезы и... в пустоту, стоящую за ними. Это не были уже глаза.

И вдруг какое-то легкое успокоение, вернее отупение, мелькнуло в них. Может быть, это была простая реакция: от усталости. Всего лишь от усталости. Немыслимо все время быть в отчаянии.

Но она ухватилась за эту усталость.

– Во-первых, Максим, не все еще потеряно физически. Ведь были же случаи выздоровления. Были. Были... – быстро и упорно повторяла она, только для того, чтобы настойчивым напоминанием об этом, никогда почти не сбывающемся шансе, вернуть ему хотя бы способность мыслить. А потом перейти к главному, что поразило ее: его отчаяние было настолько полным, ужасающим и нечеловеческим, что было ясно – он потерял веру в Бога; просто, может быть, забыл о ней. Никогда в жизни она не видела такого отчаяния, или действительно человек может вдруг превратиться в один темный, утробный, жутко-бесконечный вой, обращенный в никуда?

Она тут же вспомнила, ей приходилось видеть умирающих, и молодых, и неверующих, но такого отчаяния не было ни у кого из них; правда, они обычно умирали несравненно хуже верующих, причем часто тупо, как будто действительно уходили в небытие. «Так в чем же дело, одним простым неверием тут не объяснишь», – лихорадочно думала она. И опять догадка пронзила ее: «это потому, что он слишком любит себя! Да, конечно, такого сочетания перед лицом гибели не выдержит никто: безнадежное неверие и сильнейшая любовь к себе!»

Она застонала, и темная судорога теплого ужаса прошла по телу. Быстро подбежала, точнее – бросилась к Максиму, и опять обвила его руками.

– Слушай, Максим, – зашептала она, нервно дыша, приблизив свое лицо вплотную к его глазам, словно объясняясь в любви. – С тобой что-то произошло... Ты как будто потерял веру. Веру в себя, в Бога и в то, что душа бессмертна. Если это так, то всему конец. Ты должен вернуть эту веру.

Максим отшатнулся.

А у нее в голове стояло: «Если он не придет к вере, то сойдет с ума... Невозможно так любить себя и жить с мыслью, что ты исчезнешь навсегда».

Тем временем она услышала слабый ответ Максима:

– Я не знаю... У меня все вылетело из головы... Я верующий, крещеный, но... Ничего во мне нет сейчас... Я знаю только, что меня тащат в черную яму... Я не хочу! Не хочу! – опять вздрогнул он, и ей передалась эта судорога, переходящая в оргазм смерти, который рядом с оргазмом любви.

И тогда в бешенстве сопротивления она начала говорить. Все, что она слышала, знала, понимала и с тем же яростным внутренним убеждением и верой, которые жили в ней – она пыталась передать ему.

Но эта убежденность наталкивалась на пустоту. Правда, Максим перестал рыдать и как будто начинал успокаиваться, но, может быть, совсем от другого. И ее слова не доходили до глубин его сознания, он повторял их, бормоча, и соглашался с ними, но это почти ничего не меняло в его состоянии. В мертвом оцепении он смотрел на нее, но все-таки это было лучше голого отчаяния. Вид его был до безумия болезненный и измученный. Казалось, он не узнавал сам себя.

Но вскоре эта ее атака по крайней мере хоть на поверхности успокоила его. Да и ее присутствие, конечно, тоже помогло. Хотя взгляд Максима по-прежнему оставался мертвым и тупым; но в застывании, а не в крике и в ужасе. А Катенька тем временем хлопотала дальше: вынула из сумки бутылочку хорошего вина.

– Тебе можно немного? – спросила она.

Он махнул рукой: немного можно.

Она налила ему капельку, просто для бодрости, налила чуть-чуть и себе. Взяла и включила приемник. Из него полился веселый нелепый марш, и она раздраженно переключила станцию, найдя, наконец, то, что хотела: красивую, легкую музыку.

И сама она, усмиренная, села рядом с ним на стул, закутив – курение ему, оказывается, не мешало.

А между тем в это самое время к дому, где жил Максим Радов, приближался один из самых неуемных поклонников Кати

Корниловой – художник Глеб Луканов. Приближался пьяненький, раздрыганный, потерявши кепку, с намерением устроить здесь большой скандал.

А случилось вот что.

Глебушка еще с вечера узнал – от одного из заботливых в этом отношении людей – что Катя собирается посетить Максима Радова. Узнал он также, что Максим умирает, но не принял это всерьез. Возможно потому, что был пьяненький, и до невероятия ревнивый в тот момент. Он даже не понял, что Радов «умирает», ему почудилось, что Максим всего лишь «хочет умереть».

– Я и сам хочу умереть! – заорал он. – Уже давно! Тоже мне удивил! Что за способ!

И выскочил на улицу. Обычно тихий и благодостный, он впал в крайне мрачное переживание, а потом – в полное буйство. И изменился на глазах. Виной всему была его ревность и желание понять до конца свой роман с Катей.

Правда, в отношении Максима Радова он был почему-то особенно чувствителен. Во-первых, тут была ревность художника к художнику: хотя Радов не был так знаменит, как Глеб, но Луканов чувствовал, что звезда Максима восходит. Может быть, поэтому он с особенной тревогой переживал все нюансы Катиного отношения к Максиму, хотя видел, что там нет прямой любви, но ему казалось, что все-таки есть какая-то затаенная духовная привязанность, готовая вот-вот перейти в любовь. Он прощал Кате мужскую часть ее свиты: они в его глазах были относительно «снижены», не «творцы», кроме того он знал, что это нечто «сестринское». (В глубине души он все-таки опасался всяких таких «сестринских» отношений. «Сегодня сестренка, а завтра Бог знает что, – угрюмо думал он. – Знаем мы»). В конце концов, он мог бы простить Кате и обыкновенного любовника, если тот был действительно «обыкновенный».

Но когда появлялся поклонник с претензиями на особые духовные отношения – это совершенно выводило Глебушку из себя. И поэтому он особенно сильно ревновал ее к Максиму.

Он знал, что Катя давно не посещала Радова, и это неожиданное и «страстное» (так ему сказали) решение Кати посетить Максима взволновало его до крайности. Замечание же, что Радов «умирает», не только не утихомирило его, но наоборот – обожгло необычайно. «Что же это такое, – думал Глебушка, бредя по кривым московским улочкам, – нарочно ее завлекает. Картин ему мало, теперь он хочет умереть. На жалость бьет. Хорош гусь. Так бы каждый ее завлекал. Ну, я ему устрою баню!»

Вечер у него прошел в тоске, водке и окаянстве. «Окаянством» он называл последнюю фазу своего пьяного падения: когда рушились самые заветные устои сознания, и он мог голый плясать на улице. Ему все это прощалось: даже официальное советское начальство по искусству подозревало, что он – большой художник.

Наутро Глебушка очнулся в вытрезвителе. Это было то самое утро, когда Катя спешила к Радову. Местный начальник долго грозил ему пальцем, но документы вернул и из вытрезвителя выпустил. Сначала настроение у него было самое благое и покаянное: он готов был упасть к ногам Кати, чтобы она, его царевна Анастасия, в русской короне, в жемчугах и ожерельях, источающая любовь и милосердие к московскому народу, простила бы его, грязного и заблудшего бродягу. Ведь и «Настенька» (так называл Глебушка подлинную царицу Анастасию) любила юродивых, и безумных среди них, и кормила и поила весь люд московский почти из своих рук. И она не отделяла себя от них в те блаженные времена, которые кончились так грозно. И молилась за них; и поэтому народ плакал так, когда она умерла, точно предчувствуя будущую беду. И кроме того, он не только юродивый, но и великий художник земли русской, и если даже Катя-Анастасия видела его вчера полуголым, ког-

да он лихо плясал свое около памятника Гоголю, то все равно она должна его простить.

Такие мысли пронеслись в голове Глебушки, когда он, одетый и смиренный, тихо опохмелялся двумя кружками пива у любимого ларька недалеко от вытрезвителя.

Но часа через два прежняя ярость и изумление овладели им.

И подходил он к дому Радова вконец рассвирепевшим и распоясанным. Это было, правда, уже после двенадцати кружков пива.

Приход Глеба совершенно ошеломил Катю и Радова. Они, еще в прежнем, но уже уходящем напряжении сидели за столом.

Глеб был неузнаваем. Даже Катя никогда не видела его таким.

Он почему-то снял ботинок. И закричал, указывая на бутыль:

– Винцо распиваете... И закусочка тут... Потом он подошел к Кате и кротко сказал ей:

– Катя, я тоже хочу умереть. Возьми меня, мертвого...

И он застыл на минуту, с ботинком в руке, и без одного на одной ноге.

Катя сразу догадалась, в чем дело. С другой стороны – Максим умирал. Это был кошмар.

Вдруг Глеб очнулся от своего застывания и мгновенно ударил Максима ботинком по лицу. Тот закричал и полез давать отпор. Упала и разбилась тарелка, полетел кувшин, зашатался стол... В ужасе Катя пыталась унять Глеба, остановить его. Но он, точно в бредовом сне, упрямо бросался на умирающего, и Максим отчаянно, из последних сил защищался.

Видеть это было невозможно: боль пронизывала все ее существо, и Катя, бросив их, отошла в сторонку и заплакала. Глебушку словно окатило холодной водой, и он замер.

На шум, крик, звон – явилась вернувшаяся домой соседка и, увидев сцену, закачалась от жуткого полоумного хохота. И потом ушла к себе, хлопнув дверью.

Как назло, раздались звонки в дверь, и появилась мать Максима. На полу лежали остатки разбитой посуды, стол был опрокинут. Мать чуть было не упала в обморок, но потом ей вдруг на минуту почудилось, что Максим выздоравливает. Ничего не понимая, она схватилась за сердце и тяжело села на диван рядом с сыном, обняв его. Максим же пытался прийти в себя. Руки его дрожали, и щеки слегка покраснелись; почему-то он напоминал полупокойника. Вдруг он со стремительной яростью швырнул в Глеба что-то тяжелое, и если б попал ему в голову – дело могло кончиться плохо. Но предмет просвистел мимо головы Глеба и ударился об стенку.

– Убирайся вон! – крикнула ему Катя.

Глеб, ошеломленный, почувствовал: не то; во всем – и в лице и в фигуре Максима, в сгорбившейся его матери – выражение непоправимого горя.

Внутренне оцепеневший, Глеб вышел из квартиры. Катя выскочила на лестничную клетку и смогла только крикнуть ему вслед:

– Что ты наделал!

И потом сразу же вернулась в комнату и молча начала убирать стекло на полу. Ей стало страшно взглянуть в лицо Максима. Через минуту преодолев себя, она решилась – и прошептала:

– Максимушка, прости меня.

Она подняла голову и увидела, что Максима нет в комнате, он, очевидно, вышел.

На диване сидела только мать; она вдруг проговорила сквозь слезы:

– Да что там, девушка... не знаю, как звать-то... Это он, значит, из-за вас... Да что там... Теперь все равно... Вы такая красивая, молодая...

И она зарыдала, уже не сдерживаясь.

– Ты что, мама? – спросил Максим, входя.

– Да что... обидели нас... – спохватилась мать.

К Кате вернулся дар речи и соображения. Она приходила в себя. И, вдруг, заметив, что в глазах Максима дрожат слезы обиды, сразу почувствовала облегчение: это была жизнь, это была нормальная реакция; любое оскорбление было для него сейчас лучше, чем этот бесконечный ужас перед смертью, который она видела в его глазах и от которого у нее самой темнело в сознании. Любое надругательство было для него сейчас как освобождение.

Катя подбежала к Максиму, обняла его и поцеловала.

– Я приду завтра, – сказала она. – И помни наш разговор.

...На улице уже смеркалось, когда Катя вышла из дома, где жил Максим.

И вдруг в толпе ей почудился Глеб. Да, это был он. Несчастный и сжавшийся, он не то шел к ней, не то пошатывался из стороны в сторону. И, наконец, оказался около нее.

– Что случилось? – со страхом спросил он.

И Катя рассказала ему все: и о болезни Максима, и о своем состоянии, и о том, что он, пьяный, дрался с умирающим.

И тогда он застонал...

Это была поистине феерическая картина, от которой у нее перевернулось сердце. Только одно бесконечное несчастье исходило от Глеба.

– Я пойду повешусь... Я пойду повешусь, – говорил он ей, и вначале она почти не воспринимала эти слова, настолько они показались ей призрачными, хотя и напоенными страданием. Слова отделялись от него и повисали в воздухе – страшные, но бесплотные. Но вдруг она ощутила его присутствие, это был крик, рвущийся из мрака:

– Я люблю тебя... Убей меня... Дай мне умереть... Я люблю тебя!!!

Она не смогла этого стерпеть: стала обнимать, гладить по лицу дрожащими руками. У нее почти вырвалось, что она любит его и не любит одновременно. И она заплакала от невозможности всего этого.

А он говорил, пошатываясь, точно улетаая:

– Я хочу пропасть... Совсем пропасть... В метро. В черном тоннеле... Чтобы меня раздавил поезд... И я успею там нарисовать свой последний рисунок. О тебе... Я пойду в метро... – и он дернулся.

Она не пускала, удерживала его, похолодев от ужаса при мысли о том, что он и взаправду может что-то сделать с собой в метро – там, где эти грохочущие, беспощадные поезда, выскакивающие из тьмы. Даже ее иногда подсознательно тянуло броситься с платформы в пропасть.

«Его нельзя оставлять одного», – все время думала она.

А что было делать? Везти его к себе? И вдруг ее осенило: рядом живет Анатолий Демин, тут его мастерская, и он один из немногих, кто предан Глебу по-настоящему, на него всегда можно положиться.

С невероятными усилиями она повела, скорее даже потащила Глеба по направлению к мастерской.

Истерический страх перед тем, что с Глебом может что-нибудь случиться, помогал ей двигаться.

Она опять слышала его слова... но все реже и реже... о том, что у него никого нет... И будет луна... Одна большая желтая луна на необъятном небе... А земли не будет... И с этим он сравнивал свою любовь.

А потом она уже ощущала только его самого, не слыша слов: живого и странного. Он весь стал болью, даже физически от него исходила боль. И она подумала: с этим надо как-то кончать, в ту или иную сторону. Она не ожидала такой нечеловеческой боли. Она считала, что ему достаточно быть с ней в качестве поклонника, он сам это говорил раньше...

Художник Демин радушно принял из рук Кати своего учителя.

– Будет все в порядке, Кать, – уверенно кивнул он головой. – Не беспокойся. Где это он опять так надрался?!

– Наверное, когда ждал меня, – ответила она.

Через час Катя была уже дома, в своей кровати, и к ней под одеяло приползла шестилетняя дочка, возвращенная от бабушки, и обняла ее.

В последние минуты перед погружением в сон, вся эта история с Глебом вдруг исчезла из ума Кати, и в душе опять возник Максим и его отчаяние.

«Нет, нет, ему нужен священник... Только надо найти настоящего, все понимающего священника... Что с ним... В какое время мы живем?! Почему мы оставлены?!.. Ведь раньше не было так страшно умирать».

И наконец, «нет, нет, не просто желание жить, а скрытое присутствие бессмертного начала в нас порождает эту идею вечного... инстинкт бессмертия. Как всякий инстинкт, он отвечает чему-то реальному... О чем я думаю?!.. Господи, ведь впереди и мрак и свет!»

Среди ночи она несколько раз просыпалась, что-то бормоча и вся в поту. Один раз ее разбудила дочка. «Мама, – сказала она, – мне не спится... Я это я... я это я...» Катя крепко поцеловала ее...

И потом опять заснула. И вдруг из глубокого мрака в ее душе вышла книга, и она увидела ее в своем сне. То был роман, и светились золотые буквы заглавия. И чей-то голос свыше, но из той же тьмы произнес: «Перед тобой – последняя великая книга человеческого рода. Она будет написана перед концом мира».





ГЛАВНОЕ / ВОЗСООБРАЩЕНИЕ СОЗНАНИЕ МЯ

Глава седьмая

Патология – это вид современного романтизма, – любил говорить Ларион Смолин. И сам он был великолепен: лет около сорока, уже с лысиной, в очках, худой, тонкий, даже изгибающийся, он поражал прежде всего своим лицом, если в него взглядеться. Лицо это было острое, выдавался подбородок и обширный суперинтеллектуальный лоб; в глубине же прятались острые пронзительные глазки, которые нередко светились непонятно-загадочным огнем. Блеск глаз был холодным и в то же время романтическим, зато ум внутри был настолько парадоксальным и неожиданным, что от этого-то ума у Смолина и происходили все приключения.

Это был гений патологического общения. Он превращал свои личные отношения с людьми в огненную поэму самоуничтожения, в экзистенциальный роман, в вид наркомании.

От его бесед, от его одиноких странных бесед, от одного их стиля и языка люди пьянели и уходили от земли. И вместе с тем от этих встреч плакали, бросались на Лариона с намерением задушить его, сами порывались вешаться. Это было потому, что он своим своеобразным умом как скальпелем проникал в самое подполье вашего сознания, в самые тайники человека, и беспощадно обнажал их. И всегда показывал их вам с неожиданной, часто болезненно-нелепой стороны, так, что страдало ваше самолюбие, самооценку и все устои. Вы рушились в собственных глазах. Ваш прежний, знакомый вам образ распадался, как карточный домик, и вместо этого вы часто видели нечто убогое, жалкое, больное и сумасшедшее. Это и было – по Смолину – ваше скрытое, внутреннее истинное существо, которое Ларион раскрывал.

И он обладал удивительной способностью пародировать его перед вами, изображая это ваше внутреннее истинное «я» в его интонациях, в его патологии, комплексах, бреде – и все это в сценках, в анекдотах, в ситуациях каких-нибудь, которые он мастерски и очень остро описывал.

Было от чего бросаться на Лариона!

И вместе с тем все это было не только беспощадно, но и окутывалось истерической романтикой, внутренней мистерией. Скрытый романтизм исходил от непередаваемой конструкции его фраз, от их «логического алогизма», от фонтана потайных мыслей, поэзии и полета внутрь. Мир становился невесомым; у собеседников кружилась голова, особенно когда Ларион бывал в ударе. Поэтому, кляня, к нему тянулись, как зачарованные, и некоторые даже любили его.

Но это была только часть его искусства. Затем начинался иной полет. Это ваше реальное жалкое «я», открытое им, он считал порождением ваших скрытых комплексов, результатом «искусственного безумия». Главное же состояло в том, чтобы вывести вас теперь на широкую дорогу подлинного и здорового безумия. Ведь первооснова мироощущения Лариона заключалась в том, что он считал всех людей сумасшедшими. Именно всех. Они (люди) сумасшедшие по своей природе, сумасшедшими рождаются и сумасшедшими умирают. Но в большинстве случаев они просто не знают об этом, пряча свое безумие глубоко внутрь себя, и создают свой ложный образ, носят маску – и на службе и в быту, и для друзей, и даже для себя. Этот образ люди и называют своим нормальным «я», а на самом деле он по ту сторону всякой нормальности и ненормальности: его просто нет, он – иллюзия, маска, чтобы выжить. И миссия Лариона Смолина на земле состоит в том, чтобы сорвать эту маску, вскрыть то самое истинное «я», которое является сумасшедшим внутренним существом; ужаснуть или пугнуть им «пациента» или друга – а потом вывести

на вольную дорогу подлинного, здорового и свободного безумия. Ибо ничего, кроме безумия, у человека нет и быть не может: он обречен на сумасшествие. Но безумие безумию рознь, считал Смолин. То безумие, открытое им в человеке в виде его «истинного «я» – было искусственно в том смысле, что оно было болезненным отражением субъективных страхов, комплексов и падений данного человека. Задача заключалась в том, чтобы уничтожить это субъективное, гнилое и паразитическое безумие и обрести космологическое, тотальное и полноценное сумасшествие.

И глаза Лариона блестели при этом.

От этих его идей неподготовленные люди плакали. Так он довел до слез старушку – соседку Олега, вкрадчиво объясняя ей целый час на кухне, какая она безумная и почему она этого не признает.

«От вашего Лариона можно заболеть, – говорила Олегу его другая соседка, Марья Петровна. – От него сумасшедшей можно сделаться».

И она стучала от злости куколкой по кухонному столу.

Денька за два до описанных событий у Максима Радова Ларион сидел в кафе на Самотечной вместе с одним интеллектуалом из Союза архитекторов, который очень интересовался современной неконформистской культурой. Смолин любил пооткровенничать за чашечкой кофе и рюмкой коньяка. Интеллектуал расспрашивал его об Олеге Сабурове, Валентине Муромцеве, Глебе Луканове и о некоторых других известных в подпольных кругах писателях, поэтах и художниках.

Прежде чем отвечать, Ларион закурил и бросил остро-проникновенный внимательный взгляд на собеседника. Смолин не был особенно в ударе, и вообще он никогда не говорил с посторонними своим мистическим языком. Но он готов был поделиться с таким своим мнением – на простом и ясном языке.

– Вы знаете, – убежденно сказал он, – это же совершенно больные люди. Основной диагноз: мания величия. Ей заражены абсолютно все: от уже известных, печатающихся за границей, до щенков. Толя Епифанов, например, еще только вылупился, семнадцати лет, стихи правильно слагать не умеет, а уже маниакален в этом отношении. Почему? Вспомните: оборотная сторона мании величия – страх. Если вы считаете себя, свою поэзию, – доверительно наклонился Ларион к интеллектуалу, – синтезом Пушкина и Хлебникова, то вы больны, дорогой мой, вам надо лечиться, упорно и долго лечиться, а не писать стихи.

– Кто же из них считает себя синтезом Пушкина и Хлебникова? – ошеломленно спросил интеллектуал.

– Неважно! Неважно! А вы думаете, их поклонники – не сумасшедшие?! Да они такие же, как те – по структуре личности. Пожалуйста! Встречаю я недавно Танечку Колосову, пухленькую такую, маленькую, и что же она мне говорит: «Вы знаете, Ларион, была я вчера на вечере у Олега. Он – гений, гений, гений!» Прямо так и визжит мне в лицо: гений, гений, гений! Я отвечаю: «Танечка, успокойтесь, давайте зайдём в столовую, выпьем по кофеечку, глядишь у вас дрожь и пройдет». Нет, ни в какую, никуда не хочет идти! Отождествляет себя с гениальным, вроде под его крылом. А в основе: страх перед небытием – у всех у них. Отсюда и стремление вырваться – в просторы величия, к золотым берегам величия. А! – Ларион махнул рукой и отпил кофеечку. – Слышали, может быть, месяца два назад по Москве голый человек ходил, трезвый, в самом центре, по переулкам, а потом, как на улицу Горького вышел, его и забрали. – Ларион посмотрел на собеседника сквозь свои сверкающие очки. – Вот это, я считаю, был настоящий здоровый человек, это – нормальное поведение, – четко выговаривал Ларион, – потому что такой человек не боится своего безумия, а идет напрямик! Улавливаете символизм?!

Интеллектуал совсем озадачился и только покачивал головой, разводя руками.

- И что же, все их окружение такое? – пробормотал он. – Ведь это большое число людей.

- Все сумасшедшие. Без исключения. Разумеется, с нюансами. С разночтением. И подруги их такие же безумные. Одна Ниночка Сафронова чего стоит. Нарочно устроилась работать в крематорий, хотя с дипломом. Диплом скрыла. Ну, послушайте, разве это нормально, что молодая интересная девчонка, образованная, могла бы любой институт украсить, работает по ночам в крематории сторожем? Вот если бы она с такой психологией повесилась, это было бы нормально, потому что это был бы акт, действие, вызов, нечто героическое. Так нормальные люди и поступают. А она ведь все копит в себе, дрожит, думает, рефлексировает... Больные, глубоко больные люди!

- Это уже что-то невероятное! – ужаснулся интеллектуал. – Но может быть, это легенда такая... о ней...

- А вы думаете, ваши обыватели лучше? – распаллялся Ларион. – А, бросьте! Одна только видимость душевного здоровья. Если он полтора литра водки в день может вылакать, это еще не значит, что он психически здоров. Знаем мы таких нормальных. Мой сосед, например, даже не пьет ни капли, кроме чаю, а такое мне в ухо нашептывает... Ого-го! Это знаете ли, феномен. У них просто иная форма безумия, попроще, но поядреней. А если взять иной полюс: популярных знаменитостей, например, артистов, президентов, иностранцев, певцов и циркачей? Неужели вы думаете, они нормальны?

- Трудно сказать, – робко возразил интеллектуал. – Я не психиатр.

- И напрасно. В наш век каждый обязан быть психиатром. И сумасшедшим и психиатром одновременно. Улавливаете?

И Ларион нарисовал такую картину мира, что интеллектуал тут же заказал бутылку коньяку.

За распитием этой бутылки и кончилось первое знакомство официального представителя с неконформистским.

Некоторые считали самой острой особенностью Лариона его способность вытащить на свет это скрытое, истинное, большое «я» человека, а потом осмеять это «я» и даже окарикатурить его. И чем глубже он проникал в «странное подполье» человека, тем более потом приходилось этому человеку видеть себя на свету. В этом случае иногда доходило до мордобития. Даже собаки недолго любили Лариона, хотя какое у собак может быть «странное подполье», уверял себя Ларион.

Но иногда он ограничивался относительно добродушными шутками и шаржами.

Так, Виктора Пахомова он называл «дорогая пропажа», намекая на пахомовскую «потерю» своего высшего «Я» и на любимую Виктором песенку Вертинского, где были слова «дорогая пропажа». Ларион удивительно метко имитировал все движения и интонации Виктора, и когда Смолин произносил нараспев эти слова: «до-ро-гая про-па-жа», все покатывались со смеху, представляя себе Виктора и его потерянное «Я», как будто вывалившееся из Пахомова, как из мешка. И перед всеми тотчас обнажались самые больные места Виктора; его так и прозвали – «дорогая пропажа».

Где-то это было и неприятно, и зло, но удержаться от смеха было трудно. Однако Ларион хмуро уверял, что это не издевательство, а желание помочь; помочь избавиться от личного безумия его обнажением, как бы оно ни было болезненно.

На него часто, конечно, обижались даже за самые «добродушные» его словечки. Исключением не был и Олег, но Сабуров все-таки сдерживал свой гнев и говорил, что это даже полезно увидеть себя со смешной стороны: действует, как холодный душ. Тем более, от смешного до великого – один шаг, – добавлял он.

Способность Лариона к имитациям такого рода и перевоплощениям была безгранична. И многие любили видеть других в смешном виде, хотя порой приходилось терпеть,

когда речь шла и о них самих. Все это, впрочем, не мешало дружбе, иногда истерической, а если иной раз вносился в нее зло-остренький элемент, то это было не так уж и плохо по последнему-то счету.

Валя Муромцев, например, любил не только слушать, что «открывает» в нем Ларион, он сам порой с наслаждением пересказывал это другим, хотя в «этом» было много нелестного для него. Он часто умолял Лариона проникнуть в него, Муромцева, поглубже, и изобразить по кошмарнее, и по чудовищнее, так, чтобы он сам себе стал сниться. Это был единственный «пациент» такого рода, другие не так охотно мазохистировали, особенно на людях, и Валя даже немного надоедал Лариону своей назойливостью в этом отношении. И если бы Валя Муромцев не соблазнял Лариона рестораном или бутылкой коньяка, Смолин не всегда бы так охотно откликался на его зов. За коньяк он шел на это с удовольствием, и, сидя с Муромцевым в уютном ресторанчике где-нибудь на окраине города, в тишине у Москвы-реки, раскладывал за шашлыком перед Валею все язвы его души, все ее бездны и падения, и визги, и кошмары.

– От тебя хоть польза, Валь, – не раз говорил ему Ларион под конец этих откровений. – А ведь эти, – он махнул рукой, – только бросаются на меня.

Муромцев редко заказывал закуску к алкоголю, не любил (зато водки брал очень много), но для Лариона – из уважения – делал иногда исключение. Ларион злился на эти «иногда» и передразнивал порой Валею – другим:

– Заходим мы с Муромцевым в кафешку. Он зовет официантку: Манечка... Манечка... Нам: две бутылки водки, бутылку портвешка... одну настоечку... мда... бутылку наливочки... обязательно... шесть пива... мда... и две килечки с черным хлебом. Все.

Муромцев, однако, очень любил полеты и «проникновения» Лариона (особенно серьезные), и теплыми осенними днями, встретившись утром на бульваре, они проводили це-

лый день вдвоем, в мистическом единстве, в какой-то тревоге, и в обнаженных глубинах душ – своих, и друзей.

«Мне нужно чудо, – когда уже вечерело, сказал один раз Смолин, – одинокое светлое окно среди ночи... И в нем человек, полный бездн, но не боящийся своего безумия... Превративший свое безумие во вселенную».

Таков был Ларион Смолин. И еще знаменит был танец Смолина, когда он в какой-нибудь пьяной компании один танцевал. Так танцевать могла, возможно, какая-нибудь потусторонняя сущность, а тут было существо с развевающимися редкими волосами, исходящее в ритмах умирания и тревоги. В эти минуты Ларион был действительно потусторонен – в том смысле, что был изолирован от всего, и до странности загадочен – особенно своим холодным взглядом, когда он танцевал.

Потом он снимал и улыбался, и по-человечески просил водки.

Между тем Олег Сабуров, после вечернего посещения Кати Корниловой и вести о болезни Максима, пребывал в некоторой грусти. На следующий день он добился свидания с академическим светилом по поводу Радова, и тот обещал помощь, но не выздоровление.

Потом Олег сдавал свой перевод в институт, звонил Тоне Ларионовой, с кем-то встречался и, наконец, в тоске попал к Боре Беркову. Тот жил с родителями в отдельной, почему-то красивой квартире, где у Бори была своя довольно большая комната, заставленная шкапами с книгами. Здесь, на диване, рядом с окном, из которого виднелись небо и белые здания, Олег немного пришел в себя.

Мать Бори, седая, добродушная и по-старомодному интеллигентная старушка, принесла им в комнату поднос с чаем, вареньем и пирожками.

– Так беседы лучше проходят, – улыбнулась она.

Боря выложил Олегу последнюю новость: Закаулов исчез. Это с ним бывало, и друзья не беспокоились на этот счет.

Но смертельная болезнь Радова на каких-то планах подсознания наложила свой отпечаток на их разговор, хотя они и не были хорошо знакомы с Максимом. Однако, главным все-таки была тень тайного человека.

– Все остатки моего прежнего глупого рационализма почти исчезли, – проговорил Берков. – Ничего не осталось.

– Ну, что ж мы знаем, от наших друзей, что это не мистификация, по крайней мере. И что это серьезно. Крут Юры – надежный источник, а ведь оттуда потянулись нити, – сказал Олег. – Да и Саша, слава Богу, не дилетант, это сразу чувствуется в человеке... Дело не в этом. Для чего мы Саше, и что за игра, что за бездна стоит за всем этим – вот в чем вопрос. И увидим ли мы этого тайного человека. И что это за отбор-испытание людей, которое ведет сейчас Саша, я ничего не пойму. Каков принцип отбора? И списочек людей, которых не надо вовлекать, любопытен. Явно, что принцип основан не на гениальности, – чуть с иронией продолжал Олег, – а на чем-то еще... Откровенно говоря, я плохо понял, что происходило у Виктора, когда мы привели Сашу... Ты посек что-нибудь из того, что я тебе рассказал об этом?

– Нет. Но явно отбор основан не на знании, не на знакомстве с эзотеризмом. Иначе Саша, сам из этих кругов, искал бы людей где-то у себя. Правда, и у нас готовы к принятию этого. Как ты считаешь? Ты готов идти?

– Да, – ответил Олег, и помолчал. – Я слышу зов, страшный зов.

– И все-таки ничего не поймешь, – вздохнул Борис. – Вот эта книга о дзен-буддизме мне понятней, – и он показал на большую книгу на английском языке. – Кстати, надо предложить Саше как третий вариант Ниночку Сафронову.

– Конечно! Как это мы не догадались сразу. Вот это да!

– Мне почему-то только сейчас пришло в голову. А ведь она и наша, и связана с эзотерическими кругами. И ее нет в списке. Вот ее бы подключить, она может кое-что заранее распознать, думаю!

– Где ее телефон?

– Подожди, Олег, не торопись. Сначала надо показать Лариона, мы же обещали Саше.

– Нечего тянуть. Вечер еще только начинается. Давай-ка спонтанно. Попробуем сейчас созвониться с Ларионом и Сашей.

Борис позвонил – сначала Лариону, и застал его дома, в его однокомнатной квартире на Таганке, где он жил один. Ларион тут же согласился повидать нового «пациента» – каждый человек в его глазах был полусумасшедшим, нуждающимся в особом лечении. О Саше он раньше ничего не слышал. Но поставил условие, что если встречаться сегодня вечером, то у цирка в парке культуры и отдыха им. Горького. А потом – в ресторан. Ночью же можно посидеть и в его квартире на Таганке.

– Вы знаете, Борис, мою любовь к цирку, – говорил Ларион в трубку. – Обожаю цирк. И у меня много знакомых среди клоунов. Цирком я не могу пожертвовать даже ради душевнобольных. Билетов вы уже не достанете. Встретимся у цирка после окончания...

– Я тебе перезвоню, – ответил Боря и тут же набрал номер Трепетова.

К его удивлению, Саша тоже был дома, свободен, и с явным удовольствием одобрил идею цирка. «К тому же я люблю ночные встречи», – добавил он.

В результате поздно вечером Олег и Борис поджидали Сашу у выхода из летнего цирка. Представление еще не кончилось, и сквозь ненадежные стены цирка слышался нелепый древний рев тигра, свист бича и аплодисменты.

К полному удивлению Олега и Беркова, Саша пришел не один. За ним ковыляла трою: один был инвалид, на костылях;

второй напоминал карлика, хотя карликом не был; третий был красив, здоров, кудряв, в тельняшке, и настоящий богатырь, или во всяком случае гармонист. Все они довольно почтительно шли за Сашей.

– Кто это? – ужаснулся Олег, не удержавшись.

– Ничего, ничего, господа, – спокойно и весело ответил Саша.

Он был, как всегда, просто одет, словно работяга, в дешевом пиджачке и в рубашке нараспашку. Не хватало ему только кепочки.

– Это мои друзья далекой юности, со школы. Но они подросли. Нам они не помешают.

– Ну и ну, – робко ошеломился Берков.

– Ничего. Ребята тоже хотят в ресторан. Я им не могу отказать в удовольствии. Представляю: Степан, Юлий и Вадик.

И ребята, нисколько не смутившись, уже пожимали руки нашим неконформистам. Вероятно, они где-то тоже были неконформисты. Инвалида звали Степан; «карлика» – Вадик; а красавца – Юлий.

Берков и Олег переглянулись. Олегу показалось, что «ребята» чем-то напоминают каких-то потусторонних чудовищ, разудалых, кудрявых и выскочивших из тьмы. Хотя, как будто бы, по крайней мере в отношении внешних форм, все было в порядке: ну, инвалид, без ноги – что в этом особенного; другой вроде бы слишком маловат ростом, но толком не разглядишь, это тоже бывает; красавец же вообще был не в меру розовощек и радостен.

Этот последний, пожалуй, вызывал самое большое подозрение.

В это время раздался свисток, и толпа повалила из цирка. Тут же мелькнул и Ларион, согнуто-оживленный, ухмыляющийся, поблескивая своей лысиной. Но и он немного опешил при виде таких «гостей». Но тут же пришел в себя, покачнулся

и быстро взглянул на луну. Состоялось энергичное знакомство. Ларион, вообще говоря, немного сникал после цирка, точно это зрелище забирало его энергию. Но гости подхлестнули его, хотя в то же время чуть-чуть обескуражили.

Гурьбой пошли к ресторану.

– Где это вы их выкопали, Саша? – тихо спросил Олег.

– Из ближних к нам регионов, – был ответ.

И после паузы Саша добавил:

– Да, они чудесные ребята. И кстати говоря, по-прежнему очень интеллигентные.

Ресторанчик оказался уютным, полу-безумным, и весь в зелени. Как ни странно, народу было в нем не так много. Дородная официантка озаботилась:

– Где же мне это вас обслужить, таких боевых ребят? Вы у меня завтра водки не оставите в ресторане, – улыбнулась она.

– Что вы, мы – тихие, – успокоил ее Саша.

Расположились за двумя столиками, соединив их. Заказ получился весьма благодетным и чинным: много закуски и всего по одной бутылке водки-вина на брата, не считая пива.

Первый тост предложил розовощекий Юлий. «За наше братство!» – выпалил он. Олег и Берков, не удержавшись, опять переглянулись. Но выпили. Степан, инвалид без ноги, сразу же предложил второй тост: «За Бодлера!» Это прозвучало точно короткий удар грома: настолько это противоречило его физиономии, почти уголовной. Ларион хихикнул, а Олег сказал, что тогда не чокайся, так как приходится пить за покойника. «Степа и хочет выпить за него именно как за покойника, а не как за поэта! – заметил Саша. – Как поэта он его даже не знает».

«Из какого сумасшедшего дома их привезли?» – подумал Ларион, развеселившись. Фонтан мрачного юмора так и захлестал из его уст. Досталось и подпольному писателю Геннадию Семенову, интеллектуалу и эстету, который предпочитал, однако, писать рассказы про идиотов. «Это у него от мистицизм-

ма, – усмехнулся Ларион. – Разочарован в уме. Он считает, что в мировом уме, а на самом деле – в собственном».

Олег заметил, что Саша на сей раз ведет себя совершенно иначе, чем при встрече с Виктором. Трепетов был тих, далек, не задавал парадоксальных вопросов и скорее только наблюдал.

Олег сам исподтишка поглядывал на Сашино лицо: оно казалось ему уже не таким закрытым, как раньше. Черты его были обыкновенны, но глаза – были в высшей степени необычны. Олег видел: временами в них таился какой-то бесконечный разум, который потом вдруг исчезал, уступая место: чему? Глаза тогда, после этого ухода, превращались в бездонный путь, в провал, ведущий неизвестно куда. От такого взгляда становилось не по себе – если этот взгляд можно было распознать. Олега однако удивляло выражение непроницаемой странной грусти, которое иногда возникало на Сашинем лице. Он знал, что грусть – это не свойство сейджей².

Но это была совершенно особая, из ряда вон выходящая грусть, может быть, даже грусть как некое средство, так, во всяком случае, чувствовал Олег, целиком отдаваясь своей интуиции, чтобы проникнуть в суть. Но суть не давалась, и грусть исчезала с лица.

В таких наблюдениях Олег провел вечер, сам погрузившись, но естественно, по-человечески, по-обычному, и почти не трогая вино. Это была весьма бредовая пирушка.

– Куда все-таки он нас закинет, – раздумывал Олег. – Не сбежать ли лучше к Лесневу? Там по крайней мере все ясно: Индия, Бого-реализация, практика. Обучает высшей медитации. А здесь что? И хорош же сам этот тайный человек, если Саша таков. Хоть бы взглянуть на него разок. Интересно, отдают ли ему честь пьяные, как я слышал в одной леген-

² Мудрецов и святых одновременно (sage, англ.). –
Примечание Ю.В.Мамлеева.

де о нем. Да, да, пьяные, если даже лежат в стельку, встают и отдают ему честь как генералу неведомого мира, в котором, может быть, сами пребывают, когда у них исчезает сознание... Такова легенда, со смешком. И еще есть другие, более истерические легенды... Но я слышу зов: зов и зов среди всего этого скрежета...

И он очнулся немного из-за неестественного хохота Вадика. Было почему-то неприятно, что такой маленький человек может так заливаться.

- Вы - интересные люди, - убежденно говорил между тем Ларион «гостям», не обращая внимания на Сашу. - Степан, правда, чересчур мрачен. Степан, а Степан, да не пейте вы так водку! Веселитесь!

- А я и веселюсь, - ответил Степан, и похлопал по костылю.

Темнело, и Олега удивило, что так быстро стало лететь время, как будто они попали в иное измерение, точно сорванное с цепи. Ресторан был открытый, на воздухе, и ветер рвался в него, покачивая темные верхушки деревьев. Посетители исчезали, зал пустел. «Если бы так всегда летело время!.. ого... мы были бы уже на краю», - подумал Олег.

- Спляшем, Юлий, - внезапно заявил Ларион.

И Юлий, словно повинувшись его словам, сплясал, один, и ветер, дующий с озера, шевелил его кудрявые волосы. Олег заметил, что во время пляски Юлий почему-то смотрел в одну точку - неподвижно и тяжело. И это очень не вязалось с его разудалой пляской; такой угрюмый глаз подходил скорее покойнику или офицеру, ведущему своих подчиненных в ад. Но когда Юлий кончил танцевать, взгляд его помягчел, и он, подойдя, даже поцеловал Лариона в широкий лоб, от чего последний по-девичьи зарделся.

Было много анекдотов, шуток и прибауток. Эти трое - Степан, Вадим и Юлий - все более и более определяли настрой ве-

чера. Степан больше не поминал Бодлера, а скорее просто подвывал тоскливые, дремучие песни. И делал это так обнаженно, что хотелось прильнуть к его тельняшке.

И вместе с тем, во всем этом была непонятная лихость.

Юлий, например, был чудодейственно весел (за исключением, конечно, тех моментов, когда взгляд его вдруг тяжелел, сосредоточиваясь в одной точке), и даже болтлив, если называть его странные, несвязные и отнюдь не пьяные высказывания болтливостью.

Ларион, наконец, утомился от всего этого. Его привычный интеллектуализм утонул в эдакой беспросветной обнаженности троих гостей. При этом у них почти полностью отсутствовали всякие соответствия чему-либо существующему на земле.

Ничему не было конца, и вместе с тем все светилось горячей кровью. Румянец так и пылал на щеках Юлия, хотя говорил он об отсутствии судьбы.

– Мне страшно с тобою быть, потому, что ты разрушаешь сознание, – сказал ему вдруг Ларион, и лысина его побелела.

Они сидели друг против друга, за столом, и держали в руках бокалы.

Юлий, развалившись на стуле, бешено захохотал в ответ на такие слова, и тут же умудрился в хохочущий рот влить добрый бокал водки.

– Что с ним? – шепнул Берков и подмигнул Лариону. Кончив ржать, Юлий вытер салфеткой красные губы, пропитанные водкой, почему-то извинился и заплакал. Но плакал он так, что от этого другим становилось ни больно, ни страшно, ни стыдно – а только хорошо. Это было так же квази-натурально, как и его хохот. Поплавав, он опять вытер салфеткой губы, налил водки и, похлопав Лариона по плечу, весело вымолвил, точно утешая его:

– Ничего, старик, живем!

И всем стало очевидно, что жить, жить надо долго и обязательно без всяких берегов.

– Пора, братцы, пора! – проговорил вдруг Саша, оставшийся все время в тени.

Да, действительно было пора. Толстая официантка, прибирая остатки еды, дружелюбно поторавливала их:

– Ну, вот погуляли, и слава Богу... Глядишь, и завтра то же самое. Ласковые...

У границ парка, на Крымском мосту, расстались: Саша со своими приятелями направились к Zubовскому бульвару, а остальные – в другую сторону. Берков скоро исчез в глубинах метро, а Олег с Ларионом решили закончить вечер на квартире у Лариона за последней бутылочкой.

Ларион быстро вытащил ее из угла, добавив к ней, к красненькой, ломтики лимона в сахаре и яблочко. Он отдыхал на диване и быстро протрезвел – от мыслей.

– Ну как тебе эти мальчики, особенно тот, кудряш? – спросил Олег.

– Тяжелы... – Ларион вытер пот с лысины. – Ты знаешь, не встречал еще таких... Нда... Серьезное дело?

– А Саша?

– Совсем иное, это редчайший случай почти полного психического здоровья.

– Ого!.. Жалко вот Муромцева не было.

– А! – Ларион махнул рукой. – Хорошенького понемножку. – И он прибавил, чуть передразнивая манеру Муромцева: – Вчера с мусенькой поймали черного кота. Все сделали как полагается: время, луна и прочее. Стали его стричь, а он так заорал, замяукал, а мы с мусенькой сели на диван и стали расшифровывать. Он орет, а мы расшифровываем и расшифровываем... И такое расшифровали, что волосы встанут дыбом.

Ларион хохотнул, заключив:

– Вот в этом и весь Муромцев.

Олег вдруг разозлился:

– Извините, но вовсе не весь. Ты берешь только негативную сторону, карикатуришь ее и создаешь не реальное лицо, а его черную тень. Это остроумно, зло, но далеко от сути...

Ларион удивился такой реакции, и вечер закончился в раздражении и непонимании...

На прощание Ларион сказал:

– А начинать надо с расшифровки собственного крика...
Причем здесь коты.



Александр Харитонов | Радуга | 1960-е годы

Глава восьмая

Вся эта слегка необычная встреча в Парке культуры им. Горького происходила в тот день, когда Глебушка Лукинов заявился на квартиру умирающего Максима и устроил там скандал. А ночью, когда Кате снилась последняя великая книга человечества, написанная перед самым концом мира, – Олег еще допивал остатки вина на квартире у Лариона.

Утро следующего дня было на редкость спокойным и отрадным для многих москвичей. Солнце светило одинаково преданно и безучастно и верующим и атеистам, и начальству и свободным людям, и предназначенным для карьеры, и самым отчаянным неконформистам, встречающим зарю в канаве.

Но для Максима Радова это был по-прежнему тяжелый и зловещий день. Он рано проснулся – и подумал о том, что не стоило бы и просыпаться. Обида от дикой сцены с Глебом – которая помогла ему пережить вечер и ночь – не только ушла, она испарилась и исчезла навсегда. В сознании возник, и вытеснил все остальное – один крик, одно помышление: он умирает и жить ему осталось недолго. Он опять внутренне завыл от этой мысли и разрыдался.

Но через несколько часов какое-то безразличие, отупение и усталость овладели им...

Катя Корнилова проснулась попозже – дочку уже забрала к себе бабушка – и долго заспанная бродила по квартире, стараясь припомнить название книги, которая приснилась ей. Оно было очень простое, но его внутренний смысл совершенно провалился в подвалы ее души, и от этого исчезло из памяти и само название. Иногда ей казалось, что оно вот-вот выплывет, и ей тогда виделось: «Паук». Да, да, думала она, кажется, это был «Паук», но за этим «Пауком» хоронился особый смысл, как

будто к тому времени, ко времени конца мира, слова уже как бы сдвинулись, приобрели другие оттенки.

Порой она чувствовала, что за этим названием кроется очень простая ассоциация: «смерть», такая смерть, которая разъела человечество изнутри, изуродовала его, и тем самым сделала неизбежным конец мира, вернее, трансформацию его, то есть прямое вторжение Бога в дела людей. Причем эта смерть, разъедающая людей изнутри, виделась ей светлой, как светел бывает паук, ткущий свою белую сеть; то была смерть белая, цвета надежды, и значит, ложной надежды, и была она потому ужасней любой черной гибели, ибо... но вот в чем было это «ибо», она не могла ни припомнить, ни понять до конца, потому что за этим «ибо» стояло то, что было скрыто как за непроницаемым занавесом.

Вздохнув, Катя решила попить чайку. «И что это за необычное чувство, пронизывающая уверенность, исходящая сверху, что эта книга, приснившаяся мне – книга, созданная перед концом мира, – подумала она. – Такое несомненное ощущение: тьма была, значит, глубокий сон, и в ней сияла эта последняя книга... да и, кажется, слова... были на обложке... Паук... А во тьме, где не было книги, тени, по-моему, еле видимые двигались...»

И тут она вспомнила о Максиме. «Ну и хороша же я, – удивилась она, – за концом света живого человека не вижу...»

Почему-то возникло отвлечение к еде, и она стала тут же звонить, согласно плану, который продумала еще вечером.

Сначала на другом конце провода возник нежный и такой живой голосок Светочки Волгиной.

- Здравствуй, Катенька.
- Здравствуй, сестрица Аленушка.
- Как поживаем? Сла-адко?
- Пальцем в небо попала.

И Катя начала рассказывать. «Доктор, доктора, – передразнила она потом Светлану. – У него были и есть лучшие

доктора. Может быть, шанс появится. Но сейчас надо спасти его сознание. Он в тупике. Он умер прежде, чем умер. Ничего подобного я не знала!» И она объяснила все.

– Да, теперь я понимаю, – вещал в другом конце Москвы тот же нежный, но уже грустный голосок. – Надо найти человека из церковных кругов. Человека с особой психологией и интуицией... Другой подход... Пожалуй, ты права, у меня есть на примете такие люди... Давай договоримся...

Потом Катя звонила еще в несколько мест. Отвечали, спрашивали, обещали. Она в свою очередь связалась с Максимом. Подошла мать, и сказала, что Максиму как будто лучше, он спит, его не стоит беспокоить (это было как раз то время, когда Максим впал в оупляющее забвение). И у Кати полегчало на душе.

А вскоре опять раздался голосок Светланы:

– Катенька, можешь сегодня?.. Я еду к тебе... Я договорилась. От тебя и двинемся к ним...

Утро этого же «спокойного и отрадного дня» было для Глебушки Луканова одним из самых тяжелых в жизни. Начать с того, что после того, как он проснулся, он не мог с четверть часа понять, где он находится. Сначала, естественно, он подумал, что в вытрезвителе. Но в каком? Этот почему-то показался ему пригородным. Над ним застыли корявые доски, комки грязи свисали сверху, и он решил, что его выбросили в сарай, далеко от Москвы, и теперь все кончено. Между тем он лежал в самом центре города, хотя и в подвальной мастерской. Придя к безнадежности, Глеб опять заснул, но вскоре тут же проснулся от жути, что именно всему конец. От этой мысли он даже привстал, хотя внутри все вертелось от боли.

– Где я? – пробормотал он.

Тяжесть на душе и страх, что он натворил много непотребного, были такими, что в голову лезло нежелание жить и в то же время протест.

И вдруг он увидел, что совершенно не ожидал увидеть: занавеска перед ним раздвинулась, и просунулась голова Лехи Закаулова.

Глеб в истерике закричал: ему показалось, что появилась только одна голова, а туловища не было.

– Ну и поэт же ты был вчера, – произнесла голова. И тут же, точно в доказательство и чтоб ободрить его, показалось туловище.

...Леха Закаулов, как известно, некоторое время «пропал». После вечера под березками с синеглазой Волгиной, он впал в светоносное забытие, по его собственному выражению. В этом состоянии озарений и любви он даже не ночевал дома несколько дней. (И потом пропустил все вечера и испытания с Сашей). Пьянствовал лишь слегка – в Лосиноостровской на границе Москвы, в одной окраинной компании, в которую он иногда любил уходить (для иного воздуха). Компания была по-душевному «светлая»: девушки, добрые до слез, юноши, из христианских кругов, просто верующие, и два-три сомневающиеся, но со стыдом. Было весело, и в меру хмельно, уютно, в деревянном домике, в низкой комнате, окна которой выходили на зеленый двор, с неизменным котом на подоконнике, и даже самоваром. Говорили на различные высокие темы, смотрели старинные книги, и на душе было чуть-чуть больно, но до невозможности хорошо.

Потом он покинул эту компанию, и свет в нем немного поугас, но остатки его еще светились на дне, когда он стоял с пивной кружкой у ларька в окружении трех подвыпивших рабочих и о чем-то рассуждал.

Как обычно, кто-то закончил тем, что есть ли «правда» на земле, на что Леха ответил, что правда в Боге. Но ему возразили: пускай он тогда скажет, что такое Бог и в чем его правда. Леха начал отвечать, и сначала ничего, но потом слегка сбился, и один рабочий недоуменно развел руками. Закаулов попра-

вился и начал о том, что Бог внутри нас, и чему это соответствует, и рабочий, к его удивлению, сразу понял, хотя и поморщился. Но другой собеседник уверял, что всего этого не может быть, если на земле так плохо... Леха опять объяснял, кто-то целовался, кто-то пил... и через часок-другой Закаулов очутился на другом конце Москвы, на бревне, опять с кружкой, рядом с пожилым сторожем, который охранял склад детских кроватей.

– Ты мне в душу не лазь, – сурово говорил ему сторож. – У меня своя правда есть... А такая, что все закачаются, если узнают. Вот так. Я, знаешь, что прошел? Тебе и во сне не снилось.

– Да я к тому говорю, что душа больно чудесная! – отвечал Леха, покачиваясь. – Такая огромная, что звезды в ней, как капли. И ты, старик, себя не разуверяй.

– Меня жизнь разуверила, а не кто-нибудь, – произнес старик. – А ты вот не пьянствуй больно, а то проспиртуешься так, что и во гробе от тебя будет разить... Ишь, небожитель...

Леха захохотал.

– Да я это так, старик, к своему времени я протрезвлюсь и буду совсем чистенький. А пью я, чтоб душа не темнела.

– Ну, смотри, – добродушно ответил сторож. – Нехорошо, если от покойника разит.

А Леха вдруг опять вспомнил глаза Светланочки Волгиной. В таком состоянии ночью он и появился в мастерской Толика Демина.

– Ну и поэт же ты был вчера, – повторил Леха, глядя на Глеба.

– Какой поэт, что ты мелешь, Леха, – еле шевеля губами, проговорил Глеб. – Ты испугал меня своей головой. Где я?

И сразу все выяснилось. Леха вытащил Глеба из его угла, и он оказался в знакомой мастерской. Закаулов посадил его на скамью за деревянный стол. Глеб оброс, и в разорванной белой ночной рубашке, но в брюках, босиком, предстал перед своим учеником Толей Деминым. Толя тут же настоял, что

водки больше не будет, на что Глеб дал согласие слабым движением мизинца. Закаулов тоже отказался пить: «хорошенького понемножку». И Толик энергично взялся за «вытрезвление» своего божества и учителя. Делал он это умело, одному ему, наверное, известными травами, способами и кореньями. И через чашки три-четыре Глебушка уже был относительно в себе и даже внимательно и наставительно поглядывал на мольберт Толика, что-то бормоча про себя.

Прежние печали, однако, не давали ему покоя: что делать с Катей, как решить их отношения, и что он натворил у Максима Радова. От последней мысли похмелье его превратилось в кошмар. Глеб умолил Демина позвонить Максиму, и только когда тот вернулся (в мастерской не было телефона) с неопределенными вестями о том, что, кажется, «ничего уж особенного не произошло» и у Максима все заняты его болезнью, чуть-чуть успокоился. Что вообще дальше делать со своими мучениями, он не знал и решил пустить все на самотек.

Неожиданно в мастерскую заявился Виктор Пахомов: в отглаженном костюме, свежесвыбритый и вечно-отключенный.

Весть о смертельной болезни Максима коснулась и его, но никто не понял, как он на нее реагирует.

Усевшись на край скамьи и изящно взяв предложенную чашку душистого чаю, он посмотрел вокруг большими странными глазами.

– Я все-таки думаю, что врачи спасут Максима, – проговорил вдруг Демин. – Не может быть, чтобы нельзя было спасти...

Виктор внимательно, но остановившимся взором посмотрел на него и усмехнулся.

– Дело не в этом, Толя, – медленно и с надменным ужасом произнес он. – Если у него есть что-то живое от Бога – он спасен; если же у него есть живое, но только от этой жизни, он будет дико, – Виктор тут вдруг вскрикнул и даже ударил кулаком по столу, но потом сразу перешел опять на медленную речь, –

дико мучиться, особенно в смерти. Все остальное – ерунда, в том числе и вера. Сколько мертвых для Бога веруют. Помните стихи: «стон молитвы, с черным миром слитый». Вера тоже может быть иллюзией. А вот что делать мне – у которого нет ничего живого: ни от Бога, ни от этой жизни. Ха-ха-ха, ха-ха-ха!

Глебушка застонал: голова еще болела с похмелья, а тут такой хохот.

– Впрочем, – Виктор холодно обвел своим взором всех окружающих, – может быть, мое положение самое лучшее.

Демин и Закаулов были старые друзья Виктора; у Демина он жил одно время, но и им сделалось не по себе...

Ситуацию разрядил Закаулов, который предложил куда-нибудь съездить. Однако Демин и Виктор решили все-таки остаться. Но на Глебушку Виктор всегда действовал тяжело, и тот, пересиливая себя, решил поплестись за Закауловым, настояя, правда, на том, что поехать надо к Кате Корниловой, причем без звонка, наугад. «Чтоб получилось по судьбе, – вздохнул про себя Глебушка – а звонить ей совестно чего-то, лучше просто нагряться: была не была...»

И они «нагрянули» – как раз в то время, когда Светлана Волгина уже была у Кати, и они успели всласть наговориться. Хотя отношения между ними не всегда были равными на почве всяких ревностей-привязанностей, но они как-то умудрялись прощать все «нюансы и сложности» – и тянулись друг к другу. В чем-то внешнем они были немного схожи – и эти светлые волосы (у Волгиной чуть потемнее), и русская красота... только у Кати были довольно буйные и решительные, хотя и с глубиной глаза; Светлана же отличалась большей мягкостью и нежностью черт.

Подруги рассказывали о последних тонкостях и движениях внутри московского духовного подполья: какие нити протянулись от одних групп к другим; в каком состоянии находится один известный писатель; какая связь сейчас между

эзотерическими и литературными кругами. Вспомнили поэтому и о Ниночке Сафроновой.

– Я как раз была недавно у нее, – помешивая сахар в антикварной чашечке, молвила Светлана, уютно расположившись в кресле. – Девчонка явно в ударе сейчас. Какие-то у нее совсем сумасшедшие связи завелись в эзотерических кругах.

– А как у тебя с муженьком? – перевела вдруг разговор Катя.

– Как тебе сказать... Я ведь говорила, – немного растерянно отвечала Светлана. – «Внутренние» отношения с Петром сейчас усложнились, если это «внутреннее» между нами мы разрешим, все будет в порядке... А пока... Но я все равно его жена, и все...

– «И буду век ему верна», – улыбнулась Катя.

И в это время «вломились» Закаулов и Глеб. Приход без звонка был, конечно, терпим в «подпольном» московском мире, но нельзя было не учитывать вчерашний глебовский скандал. Впрочем, ситуация сразу смягчилась тем, что оба «героя» были трезвые, и вид их выражал полное смирение и больной покой. Катя сразу увидела, что с Глебом нечего сейчас выяснять отношения; Закаулов же, увидев Волгину, сразу просветлел и притих одновременно.

– Ну, мальчики, не пить, так не пить, – приветливо говорила Светлана, разливая душистый чай. – Будем за вами ухаживать.

«Мальчики» – один постарше, помятый и обросший, с грубою запавшими глазами и свержающим взглядом, другой помоложе, но уже в синеве восторга и бреда – смиренно молчали.

– Великие люди России и их куртизанки, – громогласно заявила Катя, рассмеявшись и взглянув на Глеба.

– Ну, мы пока еще сестры милосердия, – поправила Светлана. – Это вот у Олега...

– Духовные сестры милосердия, если уточнить, – улыбнулся Закаулов.

И вдруг потянулся спокойный, но таинственно-душевный разговор за чайным столом. Здесь было все: и ласка, и дрема, и уход в глубины, и внезапно возникающие слова, уходящие внутрь, и обмен немного печальными взглядами, и еще что-то совсем нежное, неуловимое, особенное, что могло и исчезнуть от дуновения ветерка. Неожиданно в этом бездонном разговоре выплыла на поверхность странствующая личность Закаулова, с его взлетами и опусканиями, с его светло-пьяной душой, заброшенной в небо; потом – всплыли бедствия Олега и – картины, картины Глеба – некоторые висели у Кати – фантастические, горячие, но решенные в зримо-земных тонах.

– Да, когда-нибудь все это будет в музеях, – как издали, произнесла Светлана. – ...А пока наши ребята не считаются даже художниками. Ну что ж, как это у Цветаевой: «мы любимые дети разгневанной родины... мы когда-нибудь будем свидетельствовать о вас». Только бы нам не кончить, как Цветаева.

– Или как Есенин.

– Да, или как Есенин.

– Давайте-ка лучше выпьем по чайку. Пока. А там видно будет. Главное, чтоб не было злобы. Напротив – любовь. «Все пройдет, как с белых яблонь дым».

– У нас ее и нет, злобы.

– И Цветаева и Есенин сейчас, наверное, в порядке. Вопреки некоторым представлениям.

– Не знаю.

– А где сейчас Блок? Он, гений, лучший русский поэт 20-го века, но он так мучительно умирал. И так писал о России. Где он сейчас?

– Надеюсь, он там, где нет «до» и «потом».

– Это надо спросить у тех немногих йогов... Или у Кирилла Леснева.

– Или у Саши Трепетова.

– Кто знает, кто знает?...Путей после смерти столько же, сколько и душ, – вздохнула Светлана. – Молиться только надо за него... и за других, наших...

– Но остались стихи.

– О, да, конечно, стихи, стихи, стихи! И Россия – наша, его. И поэзия, которая в нас. Его поэзия. Хоть бы все это осталось навечно.

И так продолжался этот разговор, в который влились их души, как в единый поток, и даже не чувствовалось, кто именно говорит: все были, как под одним покровом...

Светлана и Катя вставали иногда, выходили на кухню, наливали чай, приносили сигареты, и их фигуры с распущенными волосами то светлели, то темнели в лучах закатного дня. Молчал телефон, и точно остановилось время, и можно было смотреть из этой остановки в будущее. Смотрел на них и Достоевский неподвижным взором со своего портрета на стене, и Катя порой взглядывала на него и улыбалась.

Внезапно их погружение было прервано звонком в дверь. Явился сосед: что-то попросить. И после его ухода, точно очнувшись, Катя посмотрела на часы.

– А ведь нам уже пора, Света, – напомнила она.

Да, им было уже пора – их ждали целители душ.

И вот они простились у метро – им нужно было в разные стороны. Глебешка и Закаулов направлялись в центр, Светлана и Катя – в Химки.

– Не пей уж теперь, Глеб, – упрашивал его Закаулов, пока поезд нес их вперед. – Отправляйся-ка лучше к матери, отлежись у нее. Я доведу тебя. И начни рисовать, это тебя спасет.

Глеб согласно кивал головой, а внутри в душе вдруг всплывал образ Светланы. Это и пугало и смущало его: что за чертовщина – ведь он полон Катей, и вдруг... Светлана. «Хм, нельзя же полюбить двух женщин одновременно, не дай Бог, если такое может случиться, – думал он. – Это наказание

Божие. Хотя, говорят, этот паразит Муромцев умудряется, недаром о покойниках пишет. Нда, но ведь где-то Светлана может быть не хуже Кати. Но Катя, Катя... нет, Светлану надо смахнуть, как бред. Что мне делать?.. А все-таки может получиться хорошая картина с ликом Светланы внутри. Да, линии лица... А, Боже мой, Красота, Красота, отдохнуть надо от всего, отдохнуть, и даже от Кати... Не могу я...»

Прощальное общение с Лехой не очень получилось. Но на улице недалеко от своего дома Глеб вдруг произнес, положив руку на плечо Закаулова:

- А вот Настенька, наверное, в раю.
- Какая еще Настенька? – изумился Закаулов.

И Глеб объяснил, что это первая жена Ивана Грозного. И уже потом, совсем перед своей обшарпанной дверью, ему провиделся свет над Ново-Девичьим монастырем, потом пожар, огненное зарево над Москвой, царская карета, рука, поднятая вверх, чей-то голос, и опять свет, свет, свет – над Ново-Девичьим монастырем. Свет, очищающий все земное.



130851451
B. J. [unclear]

Глава девятая

Вскоре должен был состояться большой прием у Омаровых, на который был зван и Олег. Но за день до приема он решил встретиться с Сашей – заодно, может быть, и поговорить с ним о феерическом ресторанном вечере с Ларионом Смолиным.

Между тем дикие и потаенные слухи о человеке с востока узкой струей проникали из московских эзотерических кругов до окружения Олега. По пути эти слухи, видимо, искажались и приобретали таинственно-нелепые оттенки. То оказывалось, что он «исцелил» покойника (именно исцелил, а не «воскресил»), то кому-то пригрезилось, что он оборачивал животных в людей. Уверяли, что он может материализовывать потусторонних чудовищ, и якобы один такой, полуматериализованный, как призрак, прошел по ночной Москве, и редкие прохожие принимали его за собственную галлюцинацию. Во всем этом выделялся момент и странного искажения, и нарочитого юродства – но, как некоторые утверждали, с целью прикрыть истинный смысл. Поэтому, хотя все и подсмеивались над такого рода слухами, но все равно с какой-то необъяснимой опаской. Потом пополз слухок, что все религиозно-метафизические учения должны быть пересмотрены, но, конечно, не в современную, а наоборот, в еще более мистическую сторону, ибо они упустили скрытый и неизвестный элемент всего существующего, почти недоступный человеческому уму.

Одним словом, становилось нехорошо...

Олег встретился с Сашей в молочном кафе на улице Горького: Трепетов был пока постоянен в своих привычках. Пробуя раздражавшее его в такой ситуации мороженое, Олег свел все к тому, что список людей, исключенных из числа «кандида-

тов», довольно велик, и поэтому ему трудно подобрать кого-либо еще в его сфере зрения.

– Есть, правда, тут одна девчонка, Нина Сафронова... Слышали?

– Даже видел раза два-три. Давно. Но можно познакомиться поближе.

– Вот и отлично. Как бы нам все это ускорить...

– Давайте ускорим. В сущности, трех кандидатов достаточно. Есть еще дополнительный вариант: завтра ведь вечер у Омаровых. Будет много разного народу, со всех концов. Что если мне потолкаться там, вдруг на кого-нибудь ляжет взгляд?

– Неплохо.

– Вы только предупредите Владимира Александровича, что придете со мной. Он наверняка слышал обо мне, но мы не знакомы.

– Все будет в порядке. А как насчет Ниночки?

– С Ниночкой – сразу после Омаровых. И потом все мы соберемся для дальнейшего...

– Мне что-то в связи с этим тайным человеком расхотелось жить, – вдруг заметил Олег.

– Ничего! Это естественно! – бодро воскликнул Саша. – И в конце концов, пустяки! Со мной еще не то было, в другом смысле. Не дай Бог, если вам это предстоит.

Мороженое иссякло, и обо всем договорились.

– Ну-с, покедова, до завтра, лично я – далеко, – и Саша простился с Олегом.

Дома Олега ждала новость: Леха Закаулов вернулся из своего «отключения» в полном порядке.

Салон Омаровых был одним из самых популярных в неконформистском художественном мире; он даже пустил корни в официальный артистический мир. Сам Владимир Александрович был блестящий иллюстратор легально издаваемых книг классической литературы. В то же время это не мешало ему соз-

давать свою живопись, довольно модернистскую, и даже участвовать в полупризнанных выставках – в Москве, Киеве, Ленинграде и Новосибирске. Картины его попадали, конечно, и за границу. Он не был так знаменит, как Глеб Луканов, но это компенсировалось его добролюбием, гостеприимством и полным отсутствием всяких комплексов. Кроме того, Омаров питал слабость к литераторам, и даже просто к необычным личностям, которых судьба вволю разбросала по мистическому подполью Москвы. Таким образом, его салон сочетал в себе людей из разных слоев.

У него была полная возможность для устройства таких роскошных вечеров – на квартире ли у себя в Москве, или на даче, под Клином: Омаров неплохо зарабатывал своими иллюстрациями. Более того: он даже помогал нуждающимся «неконформистам», неконформизм которых заходил так далеко, что начинал сказываться на их желудках. Наконец, сама квартира его на Речном вокзале была почти сказочная и могла вместить необъятное число гостей. Она напоминала дворянские дома 19-го века: столько в ней было умело и художественно расставленной антикварной мебели. Каждая такая «вещичка» – по западным ценам – стоила сотни тысяч долларов. На стенках висели старинные портреты – русских государственных деятелей 18-го и начала 19-го века. В одном углу – богатый иконостас: Омаров был церковно-верующим человеком, хотя и без особого углубления в духовные вопросы.

Его супруга, Алла Николаевна, пышная дама тридцать пяти лет, милая, мягкая, но соблюдающая интеллигентское достоинство, работала в библиотеке научным сотрудником.

Словом, это был очень удобный салон для всех: здесь могли сойтись и поговорить за рюмкой ликера или коньяка и просветленный искатель истины, и подпольный поэт, и даже официальные ребята из Союза московских художников. Те, кто были хорошо устроены в плане внешнего бытия, чувствовали себя здесь как дома; но и полубродяги из крайних «неконформистов» могли

здесь хорошо отдохнуть в уютных креслах, отведать необычных блюд и попробовать заграничные ликеры, а не водку.

Водка целиком изгонялась из этого хозяйства, но только потому, что на этой почве бывали эксцессы. Зато ликерам и наливкам – в маленьких драгоценных хрустальных рюмочках – отдавалось безграничное предпочтение: ни в одном «подпольном» салоне Москвы не подавали к столу столько разнообразных и бесчисленных видов ликеров и наливочек. Ликеры доставлялись из лучших магазинов Москвы, а вот наливочка, к которой Алла Николаевна питала расположение, изготавливалась по-домашнему, в чем Алле Николаевне усердно помогала ее мать-старушка, тоже большая охотница наливкок и умеющая их по-старинному и весьма качественно готовить.

Две полные, розовощекие дочки Омаровых завершали благополучную картину этого семейства.

Явственно, этот салон отличался от салона Олега в Спиридоньевском переулке. Вообще в неконформистском мире Москвы было несколько видов «салонов». Собственно говоря, салон Олега был даже более знаменит, чем салон Омаровых – слишком уж громкое имя было у Олега – но его характер был совершенно другой. Олег не очень ценил внешнюю респектабельность, жил анархично, и по сравнению с Омаровыми, бедно, но больше их любил бродяг, необычных личностей и людей мистического плана. Конечно, у него были, как у всякого известного неконформистского поэта или писателя, и внешний и внутренний круг. Внешний круг у Олега был очень широк – обаявала слава – и там можно было встретить кого угодно. Но внутренний круг – это была та художественная подпольная элита, которая уже вплотную сближалась с московскими эзотерическими кругами или, во всяком случае, искала с ними контактов.

Нечто иное было в салоне Омаровых. Там даже не существовало особенного различия между внешним и внутренним

кругом. Кроме того, там равно любили всех – и художников-реалистов, и художников-авангардистов, и отчаянных поэтов, и замогильных прозаиков. (Даже такой загадочный архивист, библиофил и собиратель подпольной библиотеки как Андрей Крупаев, захаживал сюда). «Все хорошо, что талантливо и идет в сокровищницу русского искусства, – говаривал Владимир Александрович. – Модернизм, реализм... и любой «изм» только средство, а главное, чтоб было искусство. Любое искусство – счастье. Возьмите, например, Валю Муромцева; человек пишет о покойниках, мрачновато, кажется, а вот многие говорят: прочел о мертвецах, а точно солнцем осветил. Такова тайна настоящего искусства: оно всегда позитивно».

Эмоциональные речи редко произносились Омаровым, обычно он был всегда спокоен и сдержан и свою преданность искусству выражал делом: одна коллекция магнитофонных записей русских бардов, писателей и поэтов едва вмещалась в его обширные шкафы.

Олег сразу же после встречи с Сашей позвонил Омаровым, чтобы увязать ряд тонкостей. По этому поводу скорее надо было говорить с Аллой Николаевной, ибо речь шла о тех, с кем он придет. Берков, конечно, сомнений не вызвал, а упоминание о Саше даже вызвало в голосе Аллы Николаевны любознательный восторг:

– Ах, мы слышали... слышали... Он из этих... эзотериков. Как приятно. У нас еще никогда такие не были. Все знаете, писатели, поэты, художники. (Алла Николаевна запнулась, почувствовав неловкость)... Очень интересно.

Но кандидатура Лехи Закаулова вызвала отпор: Олег предчувствовал это и потому звонил.

– Сами знаете, Олег Тимофеевич, я совершенно не против странных и забубенных личностей, – сказала она. – Но всему есть мера. Я знаю это по опыту.

– А что такое?

– У нас же было несколько скандалов. Кричали во время чтения. Били дорогую посуду. А вашего Закаулова, между прочим, я видела совсем недавно.

– Где?

– В трамвае. И знаете, что он делал? Он стоял один на площадке вагона и вливал себе в горло пол-литра водки. Пассажиры прямо оцепенели, глядя на него. И потом он подходит ко мне, выпив все это, и начинает за мной ухаживать. Что, мол, я так много о вас слышал, и о вас, и о Владимире Александровиче... А сам стоит и покачивается. Кошмар какой-то!

– Алла Николаевна, а если я за него поручусь? Прослежу, чтобы он не пришел к вам пьяный и у вас не пил бы особенно? Когда он не пьет, он тихий.

– Тихий! – возмутилась Алла Николаевна. – А вы, его старый друг, видели хоть раз в жизни его трезвым, чтоб говорить, какой он тогда – тихий или буйный?

– Бывало. И сейчас все чаще бывает.

– Нда, вы знаете, жалко, конечно. Это так разрушает личность: неврастения, психопатия, истерия – все может быть в таких случаях. А ведь незаурядная личность, очень духовный человек, говорят.

– Так вот, Валя Муромцев тоже сильно пьет, но вы его пригласили...

– Ну, что вы, разве можно сравнивать! Валя пьет много, но аккуратно, совсем по-иному. Это всем известно. А главное, читает свои вещи почти трезвый.

Все-таки Олегу удалось уговорить Аллу Николаевну... Потом он позвонил Тоне Ларионовой и уехал к ней ночевать, чтобы на следующий день вместе с ней отправиться к Омаровым...

Большие вечера у Омаровых, как правило, сопровождались выступлениями неконформистских авторов. На этот раз предполагался подпольный писатель Геннадий Семенов, пи-

шущий про идиотов. Но внезапно Владимир Александрович внес изменения: он попросил почитать и Валю Муромцева, чтобы состоялся таким образом вечер сразу двух именитых прозаиков. «Покойники и идиоты – тема вполне для эстетского вечера», – посмеивалась Алла Николаевна.

Расписание было таково: с шести до семи тридцати промежуточное время, медленный сбор всех приглашенных; затем – к столу; а уже потом – чтение; после чтения – дискуссии, чай и больше вина.

Первым возник прозаик Геннадий Семенов. Это был человек тридцати с лишним лет, высокий, худой, с приятным, немного уставшим лицом. Жена его Вика сразу принялась помогать Алле Николаевне. Геннадий же сел в кресло рядом с Омаровым в гостиной, протер очки, положил толстый портфель с рукописями на пол и, вынув оттуда целую пачку листов, отдал их Омарову:

– Возьми, Володя, это тебе на хранение. У тебя надежно. Итог последнего года.

Омаров заботливо подхватил рукопись, на минуту исчез с ней в своем кабинете и, радостный, вернулся.

- А как твои внешние дела, Геннадий? Как в техникуме?
- Идет своим чередом.

(Семенов преподавал физику в одном из московских учебных заведений).

И потом раздался звонок в дверь. За ним второй, третий, четвертый... Гости прибывали, одни за другими. Катя Корнилова заявила с тремя персонами из своей свиты: Верой Тимофеевой, Зоей Ступиной и Игорем Самохиным. Почти все остальные приходили парами; редко кто в одиночку... Глеба не ждали, он отлеживался у матери. Появились Светланочка Волгина с мужем, Боря Берков с Ириной Томовой, студенткой физмата МГУ; Толя Демин со своей женой Любой, затем пошли художники, поэты, профессора, ученые со

своими женами или подругами. Это были или лица известные своим творчеством в неконформистских кругах, или люди, чаще всего из научного мира Москвы, которые их любили и поддерживали.

Они разбрелись по группкам и компаниям, которые бродили, рассматривая живопись, время шло, но не появлялись ни загадочный Валя Муромцев, ни Олег со своими приятелями.

На диванчике и стульях рядом с портретом полководца 18-го века графа Румянцева обосновались Вика Семенова, Борис Берков со своей Ирой, Люба с Толей Деминым и Вера Тимофеева.

Кто-то вдруг произнес имя Радова, сказав, что шансов на спасение почти нет и что его душевное состояние совершенно жуткое.

– Я знаю, знаю об этом хорошо! – неожиданно воскликнула Вика Семенова. – Я была у него два раза. И все-таки это – позор, такой страх перед смертью. Нет, нет, я ничего не говорю, я бы на его месте выла от ужаса еще больше, – и она прижала руки к груди. – Но... так ли умирали наши предки, русские крестьяне, например, да хотя бы наши прабабушки: вспомним Лукерью из «Живых мощей» Тургенева...

Эта внезапная речь вызвала настоящий взрыв; Люба Демина, побледнев, воскликнула:

– Да, но какая вера в Бога для этого нужна!.. Какая вера!.. Разве у нас есть такая?! Мы – несчастные. Мы и близко не можем стоять рядом с Лукерьей.

– Да и век другой, – заявил Берков. – Раздутое «эго», и потом воображение не в ту сторону работает...

– Век другой, – возразила Вера Тимофеева. – А как же на войне с нацистами? Просто Радов такой уж человек...

– Ну, война есть война. Тогда не думаешь о себе, тем более на войне с нацистами, – отрезал Берков. – Мы говорим об обычной смерти, один на один...

– Хорошо, – прервала Вика. – Но почему мы все-таки не можем переносить эту обычную смерть, как ее переносила Лукерья? И сейчас Максим мучается, и я слышу его стоны...

– Послушайте, – вмешалась Ира Томова, – прекратите сейчас же этот кошмарный разговор! Сейчас же прекратите! Если не можете помочь, то молитесь за него... И молчите, молчите!

Но в это время в дверях показался Валя Муромцев, и это немного разрядило обстановку. Действительно, воцарилось молчание. Вика Семенова мрачно вынула из бархатной сумки пачку сигарет и закурила.

Валя был один, без дамы, в помятом пиджаке и с рваным портфелем в руках, полным книг и рукописей. Его круглое лицо растерянно и застенчиво улыбалось.

– Ну, наконец-то, – облегченно вздохнула Люба Демина. – Ирочка, – обратилась она к Томовой, – давай-ка выпьем за него... именно за него, – и она указала пальцем на Валю, – а потом за нас...

Валя бросил лукавый взгляд на девочек и, подошедши к Омарову, взял его за пуговицу куртки.

– Владимир Александрович, извините, задержался, портфель чуть было не пропал. В пивной.

И он боязливо покосился на собственный портфель.

– Это вы со своими рукописями бродите по пивным, Валя, – ужоризненно проговорила Алла Николаевна.

– С рукописями-то и слаще туда шастать, – оживился Муромцев. – Выпьешь себе культурно так кружечки две-три, и портфель погладишь: там ведь лежит не что-нибудь, а собственное бессмертие. Прямо рядом, у ног. И никакой алхимии. Хорошо, хоть и страшно: а вдруг потеряешь?

И он неопределенно подмигнул. Только появление перед ним Светланы Волгиной сразу сняло его игривое настроение.

– Здравствуй, Валечка, – робко сказала она.

– Здравствуй, Светлана, – смиренно ответил он.

И раздался последний звонок в дверь квартиры Омаровых.

– Наверное, Олег! – тревожно-радостно воскликнула Алла Николаевна и пошла открывать.

То был Олег, и, как всегда, не один: впереди выступала Тоня Ларионова, а за Олегом – Саша Трепетов и чуть смущенный Леха Закаулов. Леха был на этот раз вполне трезв и приличен: он принял всего полстакана водки, для души, а такая доза никем не считалась серьезной, даже Аллой Николаевной.

Гостеприимным жестом она пригласила всех внутрь, бросив, однако, добродушно-любопытный взгляд на Сашу. «Какой-то вроде обычный», – подумала она.

Стол был уже накрыт и буквально ломился от еды – чего тут только не было: и редкая холодная рыба, и салаты, и бесчисленные закуски, консервы, колбасы, сыры, и над всем этим царил икра: красная, горящая, как кровь, она была разбросана в судках по всему столу. И рядом с нею стояли бутылки возбуждающих напитков.

– Богато живете, – удивился Саша.

Омаров пригласил Катю первую к столу, и за ней, как за неожиданной царицей, потянулись остальные.

Скоро стало полегче и повеселей; истерический разговор о Лукерье забыли, и все почему-то льнули друг к другу и слегка опьянели: от вина, от общения, от предчувствия...

Из-за обилия гостей за столом общему разговору трудно было состояться, но его струйки, журчащие по всем углам и стономам, иногда соединялись в единый и восторженный гул. Это был поток всего что угодно: веселья, грусти, нежности, смеха, иронии и даже бредового сарказма. Но и «сарказм» выражался таким образом, что становилось страшновато не от «сарказма», а от обнаженности и искренности.

– С тобой хоть на казнь, Катюшка, – улыбалась Корниловой Вика Семенова, – эх... и смерть будет слаще вместе и не страшней... Голубушка!

Но в то же время разговор принимал нередко и полусветский оборот, не все здесь было до такой степени выворочено наизнанку и раскалено, как на вечерах у Олега или у Вали Муромцева.

Известный художник-примитивист, поэт, державший салон у себя в Мытищах, но другого характера, чем омаровский, сидел вместе со своей женой Лорой недалеко от хозяина дома и рассказывал ему о сибирских шаманах и монтажах, в свете своего личного опыта. Был он художник неизмеримо талантливей Омарова и просидел при Сталине несколько лет за свое искусство.

Но Алла Николаевна любила иногда перевести разговор на житейские темы и, вмешавшись, заметила, что недавно видели Глеба Луканова – опять пьяненького и побирающегося по арбатским магазинам.

– Какой позор! – вскричала она. – Это ведь один из лучших русских художников!

– Глеб давно мог бы стать богатым человеком, – улыбнулся примитивист. – Если б не пил так!

– Нет, его пьянство ничего не меняет, – возразил Омаров. – Виной всему его детская непрактичность. К тому же Глеб окружен целой сворой спекулянтов. Они пользуются его отключенностью и покупают у него гениальную картину за ящик водки и потом перепродают ее за бешеные деньги иностранным дипломатам. А те вывозят за границу. Потому Глеб вечно беден, он даже не осознает, как поднимаются цены на его картины... А в ближайшие год-два они подскочат невероятно, поверьте мне, потому что все больше людей начинают понимать, что это такое...

– Ох, дело не только в этом, – вздохнула Алла Николаевна. – Баба ему нужна хорошая, вот что. Тогда все наладится, и картины не будут попадать к спекулянтам. Добрая, разумная и простая баба, – и она добавила потише, взглянув на Катю, си-

девушку вдалеке. – Ему надо жениться, но, конечно, не на подпольной царевне с интеллектом вместо короны, – и она усмехнулась, – тогда он не пропадет...

– Но художнику нужно вдохновение, – удивилась Лора. Аллу Николаевну передернуло даже.

– Пусть найдет другие источники. Знаете, свой ум дороже. Так и свихнуться можно, на некоторых вдохновительницах.

А в стороне звенел серебристый голосок Верочки Тимофеевой: она была в первый раз у Омаровых, и все казалось ей еще сердечней, чем у Олега.

Саша скромно сидел недалеко от Аллы Николаевны и спокойно уничтожал небольшую порцию рыбы. О нем мало кто слышал из присутствующих, но те, кто слышали, с тайным любопытством посматривали на него.

Одна дама, из ученого сословия, даже обратилась к нему с вопросом:

– Вы знаете, я хотела бы заниматься йогой... чтобы продлить свою жизнь, для здоровья... Как вы думаете?

– Не советую заниматься йогой для здоровья, – любезно ответил Саша, взглянув на нее. – Йога – это единение с Богом, а не физкультура.

– Ах, вот как! – ужаснулась дама. – Тогда не хочу. Я не хочу быть в единстве с Богом. Я хочу быть при себе.

– Как желаете, – продолжал свои любезности Саша. – С удовольствием выпью за ваше желание. – На Восток повсюду в мире большая мода сейчас, но, увы, увы, способность его понять... увы... увы... очень страдает... мягко говоря... как эта селедка... – и он воткнул вилку в кусочек селедки на блюде. – Итак, выпьем, за то, чтобы быть при себе, – и он поднял рюмку чего-то крепкого и подмигнул даме. – Это хороший тост. Я и сам хочу быть при «себе». Только вот что понимать под этим «себе», при котором надо быть. В этом-то весь вопрос и все различие.

– Действительно! – опять ужаснулась дама и лихо выпила.

Снова раздался звон бокалов, легкий вскрик, прозвучали чьи-то стихи. Неожиданный разговор о йоге прервался...

Ужин вдруг стал быстро подвигаться к концу. Все реже раздавались восклицания, обрывались слова...

Наступало время чтения.

Задвигались стулья, исчезли тарелки, бутылки, некоторые графины... и вскоре гостиная преобразилась: один ее угол был освобожден, и в этом углу за маленьким старинным столиком под портретом царедворца давно прошедших времен должен был читать автор.

Все остальные разбрелись по гостиной и расселись на креслах, синих диванах, стульях, группами, поодиночке, в углах и в центре. Верхний свет – по обычной традиции «подпольного» чтения – был погашен, так что слушатели оказались в полутьме: горела только настольная лампа на «авторском» «антикварном» столике.

Постепенно шум стих, и все затаились, готовые принять в себя сладкий яд искусства, «яд», который оживлял.

Первым начал читать Гена Семенов. Высокий, он не очень уютно выделялся за маленьким столиком, но все неудобства были позабыты. Вика Семенова, радостная и нервная, устроилась на полу рядом с Катей и не сводила горящих глаз с мужа. Рассказ Гены Семенова был довольно большой, как и все его вещи об идиотах. В нем был поток бешеного издевательства над обычным, горизонтальным интеллектуализмом, проведенный частично его же собственным острым умом. Ум, как сабля, обращенная внутрь, отрицал самого себя. И это была апология бесконечного покоя в душе. Идиоты превращались в мудрецов, в хранителей жизни, которую они не знали, в призраков, глядящих пустыми глазами на исчезающий мир. Ни что не могло поколебать их блаженной тишины.

И это было сделано так, что самые матерые интеллектуалы в этой гостиной, вздыхая, про себя соглашались, что

какая-то правда во всем этом есть. Хотя их немного раздражало, что такой рафинированный эстет и интеллектуал, как Геннадий Семенов, глумится над умом. Впрочем, в рассказе была легкая ирония по отношению ко всем: и интеллектуалам, и идиотам. Но она была настолько скрытой и неуловимой, что мало кто чувствовал ее. А те, кто чувствовал, улыбались про себя в полумраке гостиной. Для них автор не принимал ни ту, ни иную сторону, а подобно древней птице, парил над землей.

Рассказ был прослушан в абсолютной тишине – к тому же он требовал довольно большого напряжения, чтоб его правильно воспринять. А потом, когда автор закончил, – раздался взрыв восклицаний, вопросов, взглядов... Взгляды были особенно странными и близкими – они спрашивали: «Ну, а что потом? Что будет? Ты знаешь, что будет?» Они точно уводили от рассказа куда-то дальше – в почти последнюю сферу. Но знал ли сам автор, «что будет»?... Его душа, однако, словно соприкасалась с другими душами и уходила с ними – в эту почти последнюю сферу.

– Поздравляю, Гена, поздравляю, – смущенно говорил подошедший к нему Омаров.

И в гостиной вспыхнули мятущиеся разрозненные разговоры, и звездное небо своим широким синим мраком уже смотрело им в окна.

Семенов заметил, что читать сегодня больше не будет: устал. Но споры и уходящие вдаль разговоры долго не утихали; некоторые подходили к столу, выпивали бокал вина и снова присоединялись к спорящим...

Но постепенно надвигалось время Муромцева; когда перерыв сам собой истощился, Омаров негромко объявил:

– А теперь послушаем Валю.

Валя вошел в свой авторский угол, застенчиво улыбаясь. Долго вытряхивал что-то из портфеля, пока, наконец, не достал грязную потрепанную школьную тетрадку. Расправив ее, он уселся за столик.

У Валя была одна слабость: любил сочинять свои рассказы на могилках; для этого он выбирал уединенные кладбища, особенно, если недалеко от них ютились отключенные пивнушки. Чтобы начать писать, он вставал обычно рано утром и, прихватив портфельчик, отправлялся в такую пивнушку, где чуть ли не с восходом солнца можно было попробовать пивка. Он любил пивные погрязней и позаброшенной, и чтоб было мало народу. Тогда взяв две-три кружечки – не больше, – он подсаживался к какому-нибудь наиболее химеричному существу и погружался вместе с ним в некий провал бытия, который он называл «разговором». Но Валя не прочь был также выпить пивка и один, чтоб подумать о рассказе или просто посозерцать «пропавших» (которых он вовсе не считал «пропавшими» по большому счету). А потом он уединялся на какую-нибудь облюбованную могилку (больше всего он обожал могилки юных девушек) и начинал писать, приспособившись на скамеечке или под деревом...

Таким образом он и написал те два рассказа, которые собирался прочесть сегодня.

И начал! Читал Муромцев блистательно, вдохновенно, и верные движения его рук как-то соответствовали ритму и смыслу рассказа. Хотя произносил слова он не тихо, но создавалось впечатление, что шептал. Первая история была про покойника, но такого, который остался жить, будучи мертвым. Тело его – после смерти – не сгнило, а напротив, сладостно ожило и стало резвым, молодым, и даже раздулось, как у поросеночка; потому покойника и признавали за живого. Но душа его уже была не здесь, она ушла далеко, в самые темные и глухие подвалы потустороннего мира. И хотя внешне душа могла чуть-чуть проявляться и в этом мире, основная ее жизнь проходила в чудовищных кошмарах, которые труп не мог выразить на человеческом языке. Его глазки потускнели, стали как камень, так что ничему не соответствующий ужас и страдания внутри были закрыты для постороннего взгляда. Окружа-

ющие принимали его за веселого и разностороннего человека и замучили приглашениями на вечеринки, танцы, свидания. Возможно, его поросячье тело – которое было в таком контрасте с внутренним адом – приводило к таким заблуждениям относительно его общей «веселости». Впрочем, тело иногда действительно жило само по себе, даже норовило сорвать сексуальные наслаждения («надо брать от жизни все», – говорил ум тела). Труп кивал головой, порой хохотал, обнажая пасть, пьянствовал, ходил к любовницам, но только иногда какая-нибудь чересчур интуитивная девочка, заглянув в его глаза, чуть не падала в обморок – прямо на пол, тут же.

Второй рассказ Муромцева назывался «Маменька». В нем говорилось о клопе и девушке. Клоп, естественно, был не просто клоп, а реаркарнация заблудшей души. Эта душа прошла через вихрь перевоплощений в разных мирах³, постепенно деградируя, неуклонно и неуклюже приближаясь к нашему земному миру, где она, наконец, и воплотилась в виде клопа. Душа эта была тяжелая, битая и измученная. Она деградировала весьма круто, с ужасами и полетами, но на земле ей, воплощенной в клопа, была сделана милость, некая компенсация за предыдущую, бесконечную цепь тупых и диких страданий; душа, находясь в клопе, могла иногда вспоминать «былое», то есть более приличные предшествующие свои жизни, еще до крутого поворота вниз. Такая способность, данная свыше, граничила, разумеется, с чудом, но в то же время это был небольшой тихий подарок судьбы, чуть-чуть смягчающий предыдущие бред и мрак. Клоп ею разумно пользовался, чтобы «отдохнуть»

³ Муромцев, знакомый с эзотеризмом, понимал учение о реаркарнации не как повторяющееся воплощение душ на земле, а как последовательную цепь ее перевоплощений в различных мирах, в промежутках между которыми невоплощенная душа подвергается всяким мытарствам... – Примечание Ю.В. Мамлеева.

от полной ничтожности своего бытия. И вот он «вспомнил» свою последнюю светлую жизнь: она состоялась «давно», где-то в полуматериальных гигантских сферах Вселенной, невидимых для физического глаза. Самым лучшим его воспоминанием о тех «годах» была «маменька», то есть тамошнее существо, с помощью которого он и воплотился в том мире, отнюдь, разумеется, не земным способом. И каким-то сверхъестественным образом клоп почувствовал, что это последнее любимое им существо (после этого начался для него тот поток воплощений, где были лишь ненависть, злоба и месть), его «маменька» воплотилась на земле, стала девушкой, и находится где-то рядом с ним, в доме, в котором он сам «живет». Бешеным усилием клопиной воли он нашел эту девушку и намертво присосался к ней как бы в порыве любви. И начался диковинный роман между девушкой и клопом, или «маменькой» и «сыночком», выражаясь почти нечеловечески.

Эпиграфом к этому рассказу Муромцев взял строки из одной блатной песни: «Я к маменьке родной с последним приветом хочу показаться на глаза».

Чтение это вызвало настоящую истерию, но она не была только эмоциональной, то была внутренняя глубокая истерия сознания, которое надламывалось от ужаса перед бесконечным космическим бытием, одетым порой в гротескно-шутовские покровы. И страх – страх за себя – тоже овладевал душами людей, – не конкретный, конечно, страх, а подспудно-метафизический...

Внешне – во время чтения – было все более или менее нормально: периодические взрывы мрачного хохота, вскрики, полуумное хихиканье, покрасневшие лица, горящие глаза. Но внутреннее впечатление от рассказов было потрясающим, равным шоку. После того как чтение кончилось, люди вставали, пожимали руки Муромцеву и бросали слова: бессвязные, но вероятно острые и точные.

Умиленная Катя Корнилова не выдержала и крикнула Вале:

– Родной ты наш! Самое потаенное вскрыл!

Берков задумчиво пробормотал:

– Ну, ты разгулялся, старик, разгулялся!

Один Саша был в спокойствии, но крайне доволен; он ласково и ободряюще улыбался, поглядывая на Муромцева.

Светланочка Волгина, потерявшая душевное равновесие во время чтения, окаменела, а потом, выйдя из оцепенения, прошептала:

– Ну, если это не гениально, то что же тогда называть «гениальным»?

Ее муж только твердил из своего угла: «Ребята, я – пас!»

– Да, но возникает мысль, что жить вообще не стоит – робко возразила одна дама.

– Напротив, напротив, – нервно обратилась к ней Катя Корнилова, – посмотрите на лица вокруг... Я чувствую по себе и по другим: реакция обратна – жить, жить, жить, даже во мраке, в могиле, но жить. Пусть неизвестно, что впереди, но надо во что бы то ни стало жить, именно в этом темном ужасе. Даже еще слаще.

Дама отшатнулась от нее.

– Хотя, может быть, вы и правы, – вдруг сказала она, поглядев вокруг. – Но ведь это жуткая символика: я не хочу жить клопом.

– Но это предупреждение. К тому же в рассказе много линий, – ответила Катя. – «Клоп» – это символ инволюции, падения души вниз.

В одном углу внимание привлек пожилой человек, Андрей Ильич Усанов, который хотя и был официальным литературоведом, но одновременно интересовался и неконформистской литературой, считаясь ее знатоком.

Он говорил, окруженный собеседниками:

– Я думаю, что современная проза таит в себе невероятные возможности. И в будущем они должны раскрыться. Я не

говору об уже известных уникальных преимуществах прозы, как, скажем, творение человеческих характеров во всех их глубинах или наивысшая потребность выразить феномен смеха, или... Нет, я имею в виду новую тенденцию к концентрации, и наряду с этим наиболее свободную связь с метафизическим и философским потоком. В конце концов проза – самая умная форма словесности...

Олег не слышал этого разговора. Он был целиком погружен в себя, в глубине души он чувствовал, что его все больше и больше захватывает какое-то подземное течение. То течение, которое заставляет его быть с Сашей Трепетовым. Он ловил себя на мысли, что в связи с этим, как личность, он становится выше своей поэзии. Но все это было в тайниках души: на поверхности сознания малейшее умаление собственной славы и ценности как поэта отзывалось болью. Славы он не хотел никому отдавать и в то же время шел туда, в тот далекий Сашин мир, где слава, по крайней мере, в обычном понимании, не играла никакой роли и где-то была смешна...

Вместе с тем рассказы Муромцева с их неожиданным новым качеством вызвали у Олега тяжелое предчувствие, что скоро Муромцев – в подпольном мире Москвы – по своему значению намного опередит его, Олега Сабурова... И он поймал себя на неприятном раздражении, на поднимающейся темной злости. И тут же его передернуло от стыда и унижения.

«Блок немислим с такими комплексами и с такими ощущениями», – с горечью подумал он. И он взглянул на Сашу.

Саша подошел к Муромцеву.



Глава десятая

Вечер у Омаровых закончился поздно, и главный герой его, Валентин Муромцев, проснулся на следующий день только в двенадцатом часу, счастливый и умиротворенный. Он торжествовал даже ночью, когда спал. Упоение, вызванное чтением и успехом, сменялось в утреннем сознании удивлением: «Неужели это я, кто написал эти вещи?»

Ему захотелось продлить все эти переживания и встретиться сегодня с кем-нибудь из «своих», отключиться, поговорить, выпить где-нибудь на берегу Москва-реки, и может быть, почитать. Но он вспомнил, что у него сегодня разные дела, частный урок по математике и к тому же встреча с собственным дядей. Родители у Муромцева погибли, но оставили ему неплохое наследство: двухкомнатную отдельную квартиру и дачу под Москвой. Поэтому он мог легко перебиваться за счет частных уроков.

Но встрече с дядей он не мог откладывать: дядя был единственным доброжелательным родственником со связями и мог обидеться.

С досады Муромцев все-таки решил позвонить своим и застал только Катю Корнилову, которая все еще нежилась в кровати. Они поболтали о том о сем, часто возвращаясь к вечеру у Омаровых, пока Валентин не спросил о Максиме Радове.

– Я была у него всего один раз, после того, как узнала... Но больше не могу пробиться: он не хочет пока или чувствует себя неважно, – ответила Катя. – Но мы со Светланой кое-что сделали для него.

И она рассказала об их посещении людей из церковных кругов и о том, что там нашли одного человека, не священника, но глубоко верующего, которого называли «мастером смерти» за его поразительную способность возвращать атеистам дар ве-

ры, особенно на смертном одре. И вот этот «мастер смерти» должен посетить Максима...

– Да неужто в смысле выздоровления все безнадежно? – возмутился Муромцев и погрузстнел.

– Делают все, что возможно. Чудо...

И в телефонной трубке что-то заурчало, зашипело, и стало невыносимо продолжать разговор. «Гномы, что ли, у тебя там завелись, в трубке», – расслышал он последние слова Кати. Хотел перезвонить, но трубка вообще замолчала.

Печально вздохнув, Муромцев собрался позавтракать, но из головы не выходила мысль о Максиме. «Не может быть, чтобы художник умер в начале своего пути, – думал он. – Путь должен состояться, пускай и не до конца... Но все-таки состояться. Можно умереть молодым, но уже в некоторой степени завершившимся. А Максим только начинает».

Втайне Муромцев очень надеялся на этот принцип: в отношении себя. Творчество – равносильно судьбе, а ему так много надо совершить, значит, и жизнь должна быть у него не краткая.

Он даже рассчитывал – в подполье души – немного замедлить «темп» своего творческого осуществления, с тем, чтобы и жизни ему было бы отпущено побольше. Его судорожно умиляла сама эта надежда, равно как и идея связи между творчеством и отпущенным временем бытия, а значит, и блаженства. Как почти всякий человек, интересующийся покойниками, он истерически любил жизнь, особенно свое бытие в ней, и не отделял это бытие от блаженства.

Немного встревоженный и чуть отошедший от своего первоначального торжества, Муромцев, быстро позавтракав, стал лихорадочно отбирать свои тетрадки из того самого, рваного и потрепанного портфеля, который он чуть было не оставил вчера в пивной. Некоторые тетрадки со сказками и рассказами он должен был отдать на хранение своему другу. Этот человек хотя сам и принадлежал целиком к неконформистскому миру,

но лишь как поклонник свободной литературы, сам же он ничего не писал и не рисовал (только весьма секретно занимался оккультизмом), и поэтому Муромцев полагал, что у него вполне безопасное место хранения.

Валентин был охвачен идеей спасения рукописей, пожалуй, еще в большей степени, чем остальные неофициальные поэты и писатели. Всюду ему мерещились подвохи, сюрпризы и фантастические агенты, которые охотились за его сказками. Это не помешало ему в пьяном виде дважды чуть было не потерять кое-что из своих писаний, но все обошлось благополучно, и он теперь побаивался крепко пить, имея в руках портфель, набитый манускриптами. Но по мере того, как он становился все более и более известным, страх за рукописи все неотвратимей мучил его. У него было несколько «тайных мест», где он обычно прятал их.

Но, прежде чем довериться, Муромцев тщательно продумывал кандидатуру хранителя своего бессмертия: во-первых, он не должен быть, естественно, подпольным поэтом, художником, писателем и так далее, тем более популярным; во-вторых, он обязан быть вне круга его самых близких друзей, которые были всем известны, ибо это значило то же самое, что держать рукописи у себя, в-третьих, желательно, чтобы он все-таки принадлежал к «их» миру, ибо иначе трудно было бы объяснить, зачем вообще надо прятать рукописи; «свои» же понимали с полуслова. В почти идеальном случае, такой хранитель – просто тайный друг, с которым и видишься крайне редко. И лучше, если у него нет телефона...

Итак, необходимо много совпадений, поэтому у Муромцева было очень мало надежных мест. Одно такое место он нашел, правда, у своей старушки – домработницы, которая нянчила его в далеком детстве, но давно отошла от всех дел, выйдя на пенсию. Он объяснил старушке, тете Дусе, что эти рукописи нечто вроде его дневников, вернее, записи его сновидений, кото-

рые он вел со студенческих лет, и поэтому он очень ими дорожит и просит их хранить, на память, вторые экземпляры, на случай пожара, например... Старушка простодушно согласилась и спрятала их в старинный комод, под свои пропахшие нафталином юбки, кофты, шубы и ночные рубашки.

Муромцев считал, что это самое сокровенное место. Олег, знавший о мании Валентина, слегка подсмеивался над ним и говорил, что находится в лучшем положении: почти все свои стихи он держит в голове. Однако он тоже не брезговал «тайными местами», но не до такой степени. Муромцев даже побаивался связываться со своими «хранителями» по телефону, и когда было неизбежно, осторожно приезжал к ним прямо на квартиру без предупреждения. «Ты извини, старик, – объяснил он однажды своему самому потаенному хранителю, – но я тебе никогда в жизни не позвоню: просто сейчас на дворе двадцатый век, такая уж цивилизация теперь, и предосторожности надо делать автоматически, независимо от того, нужны они или нет. Сегодня, может, хорошая «погода», а завтра опять плохая. Двадцатый век, ничего с этим не поделаешь, а по сравнению с грядущими веками еще будет выглядеть как персик, как поцелуй мамочки. Так что живи пока и радуйся. То ли еще будет на этой планетке». «Хранитель», выслушав это, умилился, и тут же выставил две бутылки наливочки, чтобы отпраздновать это счастье – жить в двадцатом веке... Но по другому счету Муромцев, наоборот, упрямо надеялся, что скоро нагрянут хорошие времена, и по неофициальной Москве ходило выражение: «слабоумный оптимизм Муромцева».

Сейчас Валя как раз спешил к этому потаенному «хранителю». Тот работал инженером, но его супруга хозяйничала дома, и ей в любое время можно было вручить пакет со сказками.

Положив рукописи в портфель, Муромцев вышел из дома. Его все время мучило желание опохмелиться, но он боялся выпивать: вдруг потеряешь портфель. Все-таки, не выдер-

жав, он юркнул в уютную и в то же время мистическую в своей пустынной заброшенности столовую. Народу было в ней мало, только у кассы дремала толстенная кассирша. Где-то со двора долетала тоскливая и родная песня. Эти заброшенные столовые всегда почему-то вызывали в нем ощущение каких-то бесконечных просторов, странности бытия и щемящей тоски, смешанной с любовью и удалью. Но самым сильным всегда было чувство странной и таинственной жизни, схоронившееся именно в этой обычности и серости... И поэтому Муромцев очень любил эти столовые, посещая их даже в одиночестве, чтобы пить и «созерцать».

«Всего лишь два-три пива, не больше», – успокоил себя Муромцев. Он подсел к человеку, который допивал шестую бутылку пива. Почти два часа он опохмелялся с этим рабочим, разговаривая по-тихому, и даже поцеловавшись с ним на прощание. Особенного созерцания, правда, на этот раз не получилось, зато было общение. Не забыл Муромцев и подхватить с собой свой портфель, когда выходил из столовой.

Он почувствовал, что душевно не в состоянии давать сегодня частные уроки, тут же позвонил и перенес их на другой день. Надо было скорей двигаться к «хранителю», который жил на другом краю города.

«Цивилизация двадцатого века» не потревожила Муромцева до самого конца его пути. Он благополучно предстал перед дверью знакомой кооперативной квартиры. Нажал кнопку, и безмятежная Вера – жена «хранителя» – с улыбкой приняла подпольного писателя. Ее дочка не без лукавства поглядывала на Валентина. Вера тут же напоила Муромцева чайком, бережно приняла «пакет», спрятав его в надежное место, и рассказала о нашумевшем чтении у Омаровых. Она уже знала некоторые детали, ей звонила Вика Семенова.

Муромцев опять почувствовал прилив прежних сил, и Вера упростила прочесть ей одной рассказ «Маменька».

– Все равно по твоей тетрадке я ничего не разберу. Ты нам даешь только черновики, – добавила она.

Валя редко делал такое, чтобы одному человеку читать. Но на сей раз он согласился, и дочка Веры была предусмотрительно спрятана в другую комнату. «Рассказ про транс-миграцию, и ребенку не стоит знать, откуда его душа», – усмехнулась Вера.

Две рюмки коньяку и эти слова еще более вдохновили Муромцева; его глаза горели, когда он читал.

– Значит, если исключить случаи спасения души под крылышком у Господа, в остальном предстоят кошмарные путешествия в иные невидимые нам миры, – неожиданно заскулила Вера, когда Муромцев кончил читать.

– Ну, прежде всего, не стоит исключать первое, – добродушно поправил Валя.

– Но раз путешествие в форме уже иных существ, транс-миграция, значит, человеческая личность сбрасывается как маска. Что же остается?.. Кто мы?!

– Загляни внутрь себя, Верка, – захохотал Муромцев, ласково похлопав ее по плечу. – И, может быть, увидишь великую, страшную и могущественную «пустоту», из которой появятся все будущие формы твоей жизни... А «личность» – это слишком мелко для вечности.

– Надо обсудить это с водочкой. По-нашему, по-русски. Соберем чтение у нас?

Тут уж Валя немного испугался: перспектива чтения в доме, где хранились его рукописи, не улыбалась ему. Он предложил другое место...

Вскоре Муромцев покинул этот дом. С улицы он еще раз поглядел на окна: они поблескивали высоко, на десятом этаже, а за ними, внутри, хранилось его «бессмертие». Усмехнувшись, он поехал к дяде.

Дядя его был человеком в своем роде примечательным. Он занимал довольно высокое официальное положение, бы-

вал за границей и обладал в то же время несоответствующей его обстоятельствам широтой. Больше всего на свете он ценил «свободу» или «волю», и так как она была весьма стеснена, то он компенсировал себя безудержной лихостью в частной жизни. Ему все сходило с рук, и в данный момент он жил со старой своей подружкой, с которой разошелся лет пятнадцать назад; она по-своему прощала ему его «волю».

Кроме того, дядя этот – Анатолий Семенович – был немного вовлечен в «подпольную литературную деятельность» Муромцева, слышал имена неконформистских писателей и поэтов и имел ко всему этому особое отношение, не всегда совпадающее с ортодоксальным.

Уже вечерело, когда Муромцев добрался до дома родственников, до их большой трехкомнатной квартиры в Кузьминках. Дядя встретил его довольно громогласно и подозрительно радостно. И сразу повел его к столу. Жена Анатолия Семеновича, тетя Люба, почему-то только показалась на глаза, поздоровавшись, а потом исчезла в одной из комнат.

Сначала посидели «за жизнь», поговорили о том, о другом. Дядя по-своему любил племянника, но обращался с ним фамильярно, хотя и по-дружески. Муромцев – ради памяти покойного отца, которому дядя приходился родным братом – терпел это, стараясь не обращать на такие мелочи внимания. К тому же дядя мог быть полезен, особенно в неприятных ситуациях.

– Ну, как, конспиратор? – вдруг подмигнул дядя Валентину и выпалил: – Ведь те, у кого ты хранишь свои тексты, своим соседям их читают.

Муромцев обалдел.

«Господи, этого еще не хватало... Кто же мог?!» – ошеломленно подумал он, похолодев.

– Что же ты молчишь? – усмехнулся дядя. – Не буду тебя мучить. Это тетя Дуся, ваша бывшая домработница, собирает по вечерам соседок со двора и читает твои сказки на крыльце...

«Вот это да! – заключил про себя Валентин. – Как всегда, не ожидал».

Тетя Дуся была та самая няня из детства, у которой он действительно хранил свои тетрадки.

– Не бойся, бабкам твои сказки нравятся. Непонятно, говорят, умственно, но хорошо, загадочно очень. Одобряют.

– Черт побери, я ее не просил об этом.

– Ничего. Старушка по простоте душевной. А теперь оставим юморок. Ты вот что скажи, – вздохнул дядя, бросив взгляд на Муромцева. – Ты пишешь не только сказки, но и весьма острые рассказы, читаешь их по модернистским салонам, где встречаются люди, имена которых известны за границей. И прочее. На что ты рассчитываешь? Я не говорю, что тебя за все это посадят, дадут срок, как в сталинское время. Такого не будет. Но ты же в полном тупике. Что ты хочешь, почему ты не попробуешь писать то, что приемлемо для печати?

– Но, дядя Толя, – развел руками Муромцев, – это же творчество. Я не могу писать о том, что вне моего веденья. Даже если захочу – все равно получится плохо, потому что это – не мое, слишком узкое. Ты же знаешь, как у нас ограничены рамки искусства.

– Хорошо, предположим, – и дядя полез вилкой за селедкой. – Что же ты думаешь делать со своими рассказами? Как можно быть писателем и не опубликовать ни одного слова? И так до конца жизни?! Может быть, ты хочешь сунуться со своими рассказами за границу? Передать их туда, чтоб там напечатали?

– Да, но дело вот в чем, – Муромцев даже слегка побледнел. – Мое творчество – вне политики. Это – свободное, незавербованное, независимое искусство. Такой и была всегда настоящая великая литература. Но многие говорят, что на Западе, а больше всего в Америке, тоже господствует политика и коммерция, особенно последняя. Но если это так, то... политики у меня нет, а коммерческий подход к искусству не лучше, он попросту снимает вопрос об искусстве вообще. Чтобы стать пре-

успевающим писателем, автор должен превратиться тогда в полудиота, чтобы штамповать свои «произведения». Это целая ментальная операция: и я еще не готов к ней...

– Отлично! – радостно закричал дядя. – Я побольше тебя об этом знаю. Я и говорил тебе с самого начала: все вы, люди независимого искусства, сейчас в совершенно безвыходном положении, в полном тупике, в ловушке... ваше положение безнадежно, оно хуже, чем когда-либо. Вы – висельники. Таков уж век, – и дядя добродушно развел руками. – Предположим, – продолжал он, – там, за границей, скажем, в Америке, тебя случайно напечатают. Но поверь мне, вряд ли тебя будут продвигать, а без поддержки твои вещи окажутся в пустоте. На настоящее искусство теперь наплевать... И ничего тебе такая публикация не даст, если не считать всяких неприятностей. Сам задумаешь выбраться туда – трудно тебе будет пробиться...

– Ну и картину ты нарисовал, дядюшка, – усмехнулся Муромцев.

– А? Не нравится? – взгляд дяди помрачнел. Рубашка на нем была расстегнута, и вид он имел весьма разгоряченный. – Не подумай только, что я это говорю потому, что у меня могут быть неприятности из-за тебя, если ты будешь посылать свои рассказы за границу. Не бойся, посылай, я застрахован и не от таких дел. Меня не тронут, если даже ты сам укачишь за тридевять земель. Но я хочу, чтобы ты, наконец, понял кое-что, понял, в какое время ты живешь, на какой планете и среди кого. Иначе ты будешь раздавлен, как овечка. Мне же тебя, дурака, жалко, хотя бы из-за братана. Не такие, как ты, гибли, с железной волей, и все равно гибли, а ты – может быть, и талант, да не от мира сего, добрый, мягкий, как блаженный дурачок, а... жуткое дело. Тебя только твоя глупость и спасает, ты ведь не понимаешь, где ты живешь, какой мир сегодня. Но я хочу научить тебя быть мужчиной, видеть вещи как они есть.

– Хватит! Хватит! Не хочу больше слышать!
– Нет, ты должен слушать! Будь мужчиной!
– Ну, я больше, чем мужчина, и может быть, даже больше, чем человек, – с неожиданным высокомерием ответил Муромцев. – Это не самое высшее на земле: быть мужчиной. Я знаю, что мне делать... Черт побери, у тебя есть закурить?

– Да, вот, – и дядя швырнул ему пачку папирос.

Некоторое время они молчали. Откуда-то из кухни вывалилась тетя Люба. Она, видимо, слышала кое-что из разговора, и бросив злой взгляд на Муромцева, проговорила:

– Да какой он писатель... Писатель – это тот, про кого написано, что он – писатель...

– Ладно... – прервал ее дядя. – Мы хотим поговорить одни!

Она вышла.

– Знаешь, дядя Толя, – раздраженно сказал Муромцев, – я, конечно, не забуду этот разговор. Но давай лучше переменим тему.

– Валяй.

– Ты вот говорил, что тебя не тронут всякие, так сказать, пустяки. Вроде неортодоксального поведения твоего племянничка. Что же тебя может сломить?

– Об этом не стоит рассказывать, Валя. А тебе – слышать. Я прошел такое, от чего волки поседеют.

– Ндаа...

– И это еще не самое страшное на земле. Вот когда оно придет, это самое страшное, и я буду на много лет старше, вот тогда, может быть, я сломаюсь или... просто поседею.

– Ты никогда не говорил так открыто...

– Всему свое время.

– А ты веришь в Бога? – вдруг спросил Муромцев.

В ответ раздался хохот – первый хохот за все время этой беседы.

– Послушай, Валя, – даже с некоторым добродушием сказал дядя, как-то нежно взглянув на него, – я понимаю, что ты

имеешь в виду. Я, правда, простой человек, и я не читал и не буду читать всех этих ваших индусов или святых отцов. Но я стою у истока жизни и понимаю жизнь. Да, конечно, некая сила, разум – позади сцены – сотворил все это или был источником – не может такой невероятной сложности мир создаваться просто так, случайно, из комбинаций слепой материи или ни с того ни с сего быть, – как пишут у нас в учебниках. Даже чтобы создать спички, нужен разум. Но запомни: этот мир создал дьявол, а не Бог, и на мой взгляд, создал себе для наслаждения, чтоб было над кем поиздеваться и кого умерщвлять. Посмотри спокойно на суть жизни и на то, что происходит в мире, и ты увидишь, что я прав. Да достаточно одного нашего двадцатого века, его истории! Двадцатый век – это лучшее доказательство того, что мир создан дьяволом. Или во всяком случае Бог отдал его дьяволу. И тот полностью контролирует все, все лагеря и умы. Практически это одно и то же, как если бы мир был создан князем тьмы. К тому же, что это за Бог, который отдал мир дьяволу... Так или иначе, контроль у князя, надо только понять, что творится сейчас с миром...

– Однако в мире есть «нечто», ну, скажем, оазис, который не подчиняется такой теории... Правда, этот «островок» все сужается и сужается... Но ты судишь, исходя из опыта человека нашего времени, нашего маленького среза реальности, а переносишь на целое...

– Другого опыта у нас нет. Пусть даже и есть иные миры, где все прекрасно и божественно. Нам-то до них какое дело? «Наш» мир создан дьяволом, вот и все. И потому, дорогой Валя, я верю в дьявола, а не в Бога.

– Картина впечатляющая, но односторонняя... Никто не отрицает это дыхание над миром... Но... островок, островок. Не все потеряно.

Валентин вдруг вздохнул и добавил:

– Но картина все-таки впечатляющая.

И не то растерянно, не то наоборот, ткнул вилкой в ветчину.

– А все-таки, дядя Толя, ты явно не ортодокс в марксизме, – неожиданно перевел он разговор. – С меня и спроса нет, я – беспартийный. А ты вот – с красной книжечкой!

Дядя расхохотался, но на этот раз как-то помягче и по-человечески.

– А кто сейчас ортодокс? – наконец ответил он. – Таких нет. У всех есть что-то свое в душе. Но это не мешает мне выполнять свой долг. А то, что у меня внутри – касается одного Бога, вернее, дьявола.

– Так в чем же тогда смысл? Всех людей на земле. Плясать под дудку дьявола?

– Уж не знаю, под чью дудку, но главное – сплясать, – усмехнулся дядя. – И учти: в будущем будет еще хуже. Везде. Я объездил эту планетку и знаю. Все неизбежно катится в пропасть, и сделать уже ничего нельзя. Не дай Бог, если будут такие пляски, что и «скрежет зубовой» покажется детским лепетом. Поэтому давайте-ка лучше спляшем сейчас. Пока не наступил двадцать первый век.

И они сплясали.



Кук | За столом | 1962 год



Эдуард Курочкин | Уличная сцена | 1969 год

Глава одиннадцатая

Полулегендарная Ниночка Сафронова жила в странно сохранившемся уголке старой Москвы, причем Москвы уютных деревянных домиков и зеленых лужаек во дворе. Этот уголок сохранился, окруженный новостройками. Там, в таком домике, она жила в комнатухе с высоким потолком на втором этаже. И окно-глаз этой комнаты смотрело во двор и хранило все тайны и горело обнаженно-красным огнем зимними вечерами, и нежнело летом – от скрытых ласк, которые были разлиты везде: в воздухе, в уголках, в траве...

Нина сама любила этот дом, и этот вид, и эту заброшенность, напоенную мирами. Для постороннего, наверное, было непонятно, где виделись эти миры; но они существовали, появляясь из истории, преданий, старых картин, из слов и душ людей, что жили здесь. Нина часто застывала, думая об этих людях, своих соседях; и хотя внешне они были самые обычные люди, Нина отлично знала: никакие они не обычные, ибо за каждым из них стояло «что-то», а «что», Нина не могла определить в самой его глубине. Не раз ей даже казалось, что в некоторых случаях это была пустота, но совершенно особенная, уже не предначальная, а пронизанная неизмеримым и нередко страшным смыслом. Такое впечатление создавалось, например, когда она смотрела в глаза Тани Самойловой – ее соседки, работницы текстильной фабрики. Таня иногда, проходя по коммунальному коридору, понимала ее взгляд и улыбалась ей ответно, но не губами, а этой пустотой. Поэтому самой необычной и интересной Таня была, когда молчала; но слова у нее иногда вырывались ошеломляющие – посреди других привычных, теплых, человеческих слов. Нине порой хотелось утешить ее как носительницу непостижимого. Но Таню не нужно было ни в чем утешать, как

будто у нее внутри было тайное знание, что никакого утешения вообще не существует.

– А ты любишь себя, Танечка? – спросила ее однажды Нина. И та ответила, что любит, но очень по-своему.

С другими соседями Ниночке было чуть-чуть попроще; правда, она не раз впадала в состояние метафизической истерики из-за любви ко всем ним. Этим она порой пугала свою другую соседку – толстую Антонину Петровну, которая понимала толк в скрытой Москве. Нина и сама понимала в ней толк, ибо видела почти все, но в уме своем она не была однозначна.

Судьба ее в детстве была тяжелая. Мать, которую она очень любила, была ранена на войне, и прожила потом только десять лет; отец о дочери заботился относительно, приходилось ей даже скитаться. Потом стало полегче, кончила школу, и влекло ее все время к сверхъестественному. Девочки-подруги втайне любили ее за это, хотя на словах ругали. Зато ни о чем ей не надо было плакать по ночам. Отец остался в Питере, а Нина попала в московский институт и молоденькой вышла замуж. Отсюда и начались ее приключения в неофициальном мире Москвы, который к тому времени уже расцвел. Однако непонятно было, кто ввел ее в этот мир: то ли друзья, то ли муж, Миша Саблин, отличавшийся своими эссе.

С ним у нее получилась настоящая кутерьма: они расходились и сходились по нескольку раз, но это не мешало их шумной, необычной и в каком-то смысле светской жизни. В конце концов они все-таки почти разошлись, как раз незадолго до болезни Радова, и жили отдельно. Нине было уже двадцать шесть лет, она кончила институт, но по специальности не работала, ведя фантастическую и отчаянную жизнь. В ее комнатке на втором этаже нередко закатывались самые потаенные и невиданные чтения подпольной Москвы.

Проникали к ней и книжки, и всякие рукописи, перепечатки, издания, которые трудно было найти даже в Ленинской

библиотеке. Заходил к ней порой и Юра Валуев, и люди из других, по большей части невероятных кругов.

Таня Самойлова говорила ей, бывало, на кухне, моя посуда:

– Хорошие у тебя друзья, Нинка. Такие не подведут, особенно на том свете.

И Нина гордилась своими связями, расцветая от них. Но и ею гордились тоже. Олег иногда забредал к ней почитать свои стихи, впрочем, для небольшого и весьма избранного общества. Но у Нины порой ему становилось не очень уютно, поражала она его, да и других, чем-то, что хотелось бы забыть. Но это не мешало любоваться ею: была она худенькая, среднего роста, с распушенными каштановыми волосами, и отличалась выражением лица: при всей странной миловидности его, было оно облагорожено и обожжено внутренним умом, при котором всякая обычная сентиментальность и чувствительность почти пропадала.

Телефонный звонок Олега о том, что он хочет зайти к ней с Сашей Трепетовым, немного ошеломил ее. (Нина была одна в квартире во время этого разговора, уставшая после работы в крематории, которую она любила). Несколько раз в жизни она уже встречалась с Сашей, никакого продолжительного знакомства не было, но что-то в нем волновало ее необычайно. И вот они должны увидеться снова у нее дома.

Она легла на диван.

Было так тихо, как будто дворик за окном перестал существовать... И она вспомнила их первую встречу. Это было давно, несколько лет назад, еще до того, как она вышла замуж. За ней ухаживал один человек – с которым она потом так и не сблизилась – довольно отключенный парень, которого все время тянуло куда-то в неизвестность.

Она была тогда вроде бы незаметной девочкой, только поступившей на первый курс института. И этот парень – звали его Гриша – познакомил ее с Трепетовым. Она помнила: это было

зимой, в неистово солнечный морозный день, они решили поехать за город. И врезалось в память: большая, почти круглая комната, где оказалась она с Гришей, а Саша Трепетов будил в далекой спальне красивую девушку:

– Вставайте, Элен... вставайте... они вас сожрут... Скорей на воздух... туда... за город... Скоро все совпадет... У меня есть рецепт. Мы разожжем костер... И сквозь дым вы увидите проекции демонов.

И Элен встала от этого голоса. Причесываясь, она бродила, чему-то улыбаясь. Для Нины тогда многое было в новинку (и в то же время до странности привычно): и жуткие песни про инкубов, и магические заклинания, хранящиеся в черной записной книге Саши, и вообще весь темный, но скрыто-реальный потусторонний мир, нежно, как говорил Юра Валуев, обволакивающий нашу землю.

Нина запомнила один стих:

Скоро, ах скоро, на теплое ложе,
Скинув на время бесовские хари,
Духи тебя для зачатья уложат –
В мире нужда по причудливой твари!

Гриша все время твердил, что действительно сейчас наступила большая нужда в «причудливой твари»; и что давно уже пора этой «причудливой твари» отдать во владение весь мир, ибо надо «повеселиться» и «чем хуже, тем лучше». И при этом он хохотал, похлопывая себя по ляжкам. Сразу решили, прежде чем отправиться за город, к «королю», захватить за одной такой «причудливой тварью» на дом. Ехали за ней в полупустом трамвае, холодном и до того промерзшем, что казалось, не колеса это стучат о рельсы, а живые кости. Все окна в трамвае были заморожены, запечатаны холодом, освещены извне солнцем, и не видно сквозь них было ничего, кроме света. И Нина не знала, какими путями они проезжали.

Человек, к которому они зашли, был действительно причудлив. По дороге Гриша со смехом уверял, что когда этот тип родился, то вскоре в младенца лихо воплотилось очень крепкое, но бессвязное существо из глубоко темных, но многозначительных подвалов иных миров. С тех пор младенец поумнел, но развивался не по-нашему. Иногда только со дна его «подсознания» проглядывал человеческий образ.

Парень – звали его Николай – оказался и вправду не совсем в норме даже внешне: толст, уродлив, почти горбат, но силен чрезвычайно. Но главное, конечно, было в глазах. Познакомились. Он подал свою лапу, но как-то слишком церемонно.

Нина вспоминала, что очень пожалела его и чуть-чуть привязалась к нему за время этой поездки. Хотя никакой ответной реакции он не проявлял. А в электричке вел себя шумно, нахраписто, и все время рассказывал дикие, патологические истории из своего детства, о привидениях, которые выходили из его снов и беседовали с ним потом наяву. «А может, он человек», – шепнула тогда Элен Нине. Но его мнение до такой степени шли вразрез со всем устоявшимся, что Нина усомнилась...

Уже смеркалось, и они неслись вглубь Подмосковья в полупустой электричке. Кругом развертывались бесконечные снега и темные леса среди них; летящие белые хлопья стремительно падали на землю с неба, а самого неба не было видно: оно было скрыто водопадом снега, падающим сверху. Таинственность лесов подкрадывалась к сердцу и наполняла его древним мистическим трепетом – захватывающим в себя, но в основе своей родным. А когда совсем стемнело, то все это пропало, но появились редкие огни, которые, как живые горящие духи, освещали эту землю.

Наконец, поезд, после тяжелого своего бега, встал. Это была их станция. Не боясь мороза, оголтело-весело они вывалились на платформу. В стороне женщины продавали мороженое. Саша вообще был чуть ли не в пиджачке, с непокрытой голо-

вой. Выглядел он совсем молодо, и какая-то таинственно-блаженная улыбка появлялась у него на лице.

Дом «короля» стоял на отшибе, почти с самого края: деревянный, одноэтажный, как большинство домов в этом поселке.

Нина запомнила раскаленную русскую печку в углу, яркий электрический свет с потолка, и «короля»: довольно мрачноватого, но гостеприимного человека лет тридцати пяти с остро отточенными карандашами в верхнем кармане пиджака. Работал он в министерстве пищевой промышленности, но на самом деле был крупный практик, занимавшийся оперативной магией. На Сафу он посматривал с восхищением.

На целых два часа он исчез с Трепетовым, запершись в своем маленьком кабинете...

Остальные, однако, не скучали за столом; особенно развлекал всех «Николай» своей непропорциональной причудливостью.

И еще Нина запомнила: странно-зловещую улыбку «короля», чьи-то слова: «И кажется вечность раем, где зреет вкусная падаль», доброту и огонь за окнами. А потом совсем нечто невероятное, символы, книги, невиданные карты, специальные слова, и все это прерывалось словами о тех, «кто всегда внизу», и о том, что некие существа «богаты чьей-то кровью», и им с нежностью снова и снова предлагается кровь, какие-то обещания, любовь, но не к человеку, и «тьма, где воют упыри». И тотальный хохот, раздающийся из углов.

Она плохо понимала тогда смысл произносимого, и от этого кружилась голова, и все обволакивалось тайной и бездонной дымкой. Это было как в глубоком детстве, когда она не понимала, что происходит вокруг, и ей было жутко, и она плакала. Только впоследствии, многому научившись, она поняла значение того, что тогда произносилось, и решила, что лучше было бы ей этого никогда не знать.

Возвращались они в Москву поздней ночью, с последней электричкой.

«Король» где-то утрашил Нину... но Саша, Саша... она чувствовала, что еще момент, и влюбится в него. С таинственно-мудрой улыбкой сострадания он обнимал ее за плечи, что-то говорил, и она поняла: вопреки всему, вопреки «тьме», жить можно. Пускай бесы, «дезинтеграция» после смерти, «пусть заочно за нас решило наше прошлое, пусть тюрьма», или «стон молитвы, с черным миром слитый», но все равно бытие – это дар и его надо разгадать; и даже тот мрак лучше, чем ординарное сознание – в котором вообще ничего нет. Саша смеялся, и они уже неслись обратно в Москву, и опять пылали вдалеке в пространствах огни, и ей казалось – сквозь тьму за окном, – что она видит родные бесконечные леса, которые таинственно о чем-то говорят и полны бездн...

...Потом Нина изредка встречалась с Сашей в разных компаниях. Она чувствовала, он изменился, но она по-прежнему тянулась к нему, однако Саша исчезал – и Нина забывала. Слово была невидимая преграда. Да и у нее самой в жизни происходили многие события и огромные перемены – и внутри и вовне. Только однажды у них вроде бы произошел контакт, это было спустя полгода после первой встречи у «короля», но на этот раз в квартире у одного неконформистского художника, Бориса Вешникова. Контакт получился иного рода: по поводу «сновидения». Вернее, за неделю до этой встречи с ней случилось что-то непонятное во время сна. Никакого сновидения не было, но вдруг она почувствовала, что проваливается в черную яму, точнее, ее «душа» – и она осознала это во сне – внезапно стала приближаться к некой страшной черте, и если бы она перешла эту черту, то все было бы кончено для нее с этим миром.

Она провалилась бы в бездну, по ту сторону этого существования, и уже никогда не увидела бы небо, звезды, Россию. Это была черта, перейдя которую, не возвращаются обратно и не просыпаются. И она ясно, всем сознанием своим почувствовала это как истину. И яростно стала бороться, чтобы не перейти, вернуться обратно, и не поддаться движению в бездну. В уме зияла

только одна мысль: еще один момент, и все кончено. И отчаянным усилием воли она возвратилась. И проснулась.

И вот тогда – у художника, после просмотра его сюрреальных картин – она спросила тихонько у Саши об этом, и он объяснил ей, что это не был «сон», и что она была в опасности и почему. Она запомнила этот разговор на всю жизнь.

И все это, как бы в забытии, вспоминала Нина, лежа на диване, после звонка Олега. Значит, завтра Саша появится у нее.

...Олег был рад тому, что визит к Нине – последний из всей серии Сашиных поисков. Уже был и Виктор Пахомов, Ларион Смолин, большое общество у Омаровых, и теперь Нина. Саша сам сказал, что этого достаточно. И потом будет известен результат, и дальше второй этап, может быть, даже цель: встреча с «тайным человеком» и «путь». Пора, пора было что-то менять, одними стихами всю жизнь не проживешь, надо совершить нечто более кардинальное, бесповоротное и сверхчеловеческое... Так думал Олег. Хотя и возмущался в глубине: нет, нет, стихи он не оставит никогда, как оставил их тишайший Борис Курганов. Борис – он считался одним из лучших русских поэтов нашего времени – собирал свои стихи, оставленные у друзей, и сжигал их, чтобы быть в единстве не с поэзией, а только с Богом. Но неужели нельзя сочетать? – удивлялся Олег. Нет, он никогда не откажется от стихов, ибо писать их – глубинная внутренняя потребность для него. И слава. А от всего этого не так-то просто отказаться. Для этого надо быть Борисом Кургановым – и перейти в иные измерения...

Ни Закаулов, ни Берков не пришли на этот последний «поиск» Саши Трепетова. Были свои причины, особенно у Лешки, который извелся от своей разгоревшейся любви к синеглазой Светлане Волгиной.

Олег встретился с Сашей один, вечером, когда лил осенне-бесконечный дождь, иногда посещающий Москву летом. До-

вольно прохладно поздоровавшись, они направились к цели. Нина уже ждала их и приготовила фантастически скромный ужин (так хотел Саша), пригласив дополнительно только одного человека – старого своего приятеля Илью: из-за его тихости.

Вид Саши поразил ее: она давно не видела его, и он изменился – в чем-то неуловимом на первый взгляд. Ей показалось, что он где-то совсем в другом, не в прежнем, а в невероятно далеком. Тем более удивила ее какая-то вне всяких рамок его велесость – настолько странно сочетаемой она была с его уходом.

Поэтому, как только сели за стол, покрытый простенькой клееночкой и примостившийся у окна, которое выходило во двор, Нина сразу вдруг спросила Сашу о «короле» и напомнила ему эту забываемую для нее поездку в глубь Подмосковья – зимним вечером, в мчащейся сквозь тьму электричке, полной огней.

Саша улыбнулся:

– О, это были дивные времена... Но, увы, для меня уже отошедшие. Хотя «король» по-прежнему пребывает в своем королевстве.

– Хотела бы я его еще раз повидать, Сашенька, – засмеялась Нина. – Я ведь тоже теперь другая...

– Это надо обсудить. Все зависит от того, какая ты другая. К «королю» лучше приходить только по делу.

Кое-что из этого разговора – некоторые намеки Нины – Олег не уловил и почувствовал себя отчужденно. Скоро вот и при нем будут говорить на непонятном языке.

Но неожиданно оживился Илья и начал рассказывать, как уютно и ладненько он пристроился работать сторожем в зоопарке (на более высоком уровне реальности он был поэтом) и как много от этого он получает для своей поэзии, особенно от слонов. И что он смущен общей загадочностью и величиной этих существ и часто плачет поэтому.

– Все они хороши, – подтверждал, посмеиваясь, Саша, наливая вина, – домашнее зверье особенно любопытно наблюдать;

как они иногда пытаются понять человека и порвать занавес, и как плохо это у них получается. Так и мы, грешные, порой, в таком же положении, в смысле занавеса, только другого. Хе-хе...

Разговор разгорелся, и, охватывая все подтексты, понесли по своим кривым переулочкам и широким дорогам. Олег даже почуднел от удовольствия. Нина тут же рассказала залихватскую и задушевную историю про одну свою школьную подругу, в квартиру которой вдруг в один весенний день раздался звонок и на пороге появился незнакомый мужчина, который, извинившись, попросил разрешения зайти к ней в уборную и помочиться. К собственному ее удивлению, она согласилась. Мужчина зашел, да так и остался с ней, как говорится, навсегда. Поженились они по любви. Зажили как в раю, потому что великим монстром он оказался в душе, а ей этого и хотелось.

– Упаси Бог от такой любви, – упрямо заметил Олег. Нина налила себе ароматной наливочки, вздохнула и, словно в забытьи, загляделась на Сашу.

– В адок, в адок бы хорошо! – вдруг вымолвила она, облизнувшись и сладостно опрокинула в себя рюмку. – Временно, конечно. Эх, погулять бы по этим кругам! С песнею да с гитарою. Пошевелить наполеончиков, чингиз-ханов, шепнуть кое-что на ушко Главному: Хозяину земли этой... Эх!

– Протекция, большая протекция нужна в таком случае, – вздохнул Саша.

– Да, да, адка хорошо бы попробовать... На вкус, Сашенька, – и она улыбнулась ему заразительно. – Впрочем, порой я устаю от всего этого. От нечисти, которая кружится в воздухе. И от любимых монстров со стороны, которые – неизвестно из каких сфер – начинают вдруг воплощаться здесь. Устаю. Тогда хочется вверх, в Вечное, порвать занавес, – она опять взглянула на Сашу, – по-настоящему порвать. Чтобы уже не было ложного света.

– О, для многих это главное препятствие! – ответил Саша. – И даже истинный свет бывает опасен, если, например, он

дан в меру, но к нему приковываются, принимая эту горстку Света за абсолютное. И потому застывают, не идут дальше, отрекаясь от глубинного Богопознания. Кроме того, свет обладает свойством ослеплять. А тьмы нечего бояться...

Нина снова прикованно посмотрела на него.

– Как смешно, наверное, видеть разницу между Божественным и тем, что люди принимают за Божественное, – быстро сказала она. – Бедные они, бедные!.. И когда же, когда все это кончится?!

– Не переживайте, – вмешался. Олег, – на всех все равно не хватит жалости. Бог с ними. Лишь бы найти себя, свой путь.

– Ох, Олежек, – живо обернулась к нему Нина. – Смотрите, как бы еще не пришлось нам расплачиваться за этот свой путь... «Свое» – не гарантия божественности. Так и подзалететь можно. Один мой друг говорит: надо разбить все ориентиры, и вперед! Но разбить он хочет, прежде познав их... Эдакий богатырь... Таких я люблю.

Саша, отпивая чаек, посматривал на Нину, улыбаясь.

– Полетим, полетим, все равно полетим! – прервал тихий Илья. – И даже зверушки полетят. В свое время.

– Смотря куда.

И разговор вдруг перешел на личность Валентина Муромцева.

– Думаю, станет весьма крепким парнем, – заключил Саша. – Поэтому пока мы его трогать не будем. Пушай созревает себе. На могилках.

И беседа продолжалась радостно, уютно в озарениях, при осторожном шелесте деревьев во дворе.

И когда уже наступила ночная глубина, стали расходиться. И Нина, спускаясь по деревянной лестнице, ведущей на землю, слегка коснулась Сашиной руки и спросила, можно ли ей позвонить ему.

Глава двенадцатая

Катя – в душе – неотвязно беспокоилась за судьбу Максима. Но после того необычного визита к нему и сцены с Глебом ей так и не удалось больше посетить его: то он неважно себя чувствовал, то ожидал прихода какого-нибудь именитого врачевателя. И встречаясь с другими, и на вечерах, подобных омаровскому, она тосковала о нем...

Между тем Максим, после ссоры с Глебом, впал в совершенно иное состояние, которое никогда не охватывало его раньше. Что-то в нем надорвалось, ибо дошел он до крайности: порвалась, наверное, сама способность к страданию, ибо даже она не беспредельна. Безразличие и странное отупение овладело им. Возможно, это была волна желанного милосердия. Это отупение не было ординарным, потому что его способность мыслить не исчезла, но была загнана внутрь, а в сознании царил холод и невозможность больше страдать. Только иногда прежняя мысль о конце вспыхивала в нем, прорываясь, и тогда он опять готов был кричать от боли. Но это случалось теперь лишь временами.

И вдруг соседка, та самая, которая хохотала, предложила ему последнее утешение: «Ты играй в шашки, Максим, играй в шашки. Это помогает в таких случаях. Шашки, они кого хошь победят».

И Максим стал играть. Партнер для него нашелся из соседней квартиры: мальчик лет четырнадцати, хороший игрок, чемпион школы. Он был безотказен: целыми днями они сидели за столом, иногда переругиваясь и переставляя фишки. Как будто играющий в шашки не умирает...

Так проходили день за днем, час за часом, даже в лихой веселости и в оживлении. Но Максим все время поглядывал в окно: не залетают ли к нему птицы...

...А Катя, на следующий день после того, как произошла встреча в Нининой комнатке, решила позвонить тем самым людям из религиозных православных кругов, которые обещали ей и Светлане Волгиной прислать к Максиму своего знаменитого «мастера смерти», который возвращал внутреннюю жизнь неверующим... Но ее ждало разочарование: до сих пор до него не могут докопаться, он куда-то исчез, но надеются, скоро будет. И тогда она позвонила Максиму: как он. На сей раз он коротко ответил: приезжай.

С трепетом она подходила к этому большому серому дому в центре Москвы, где недавно пришлось пережить ей нечто похожее на сцены из Достоевского. К ее изумлению, Максим всего-навсего играл в шашки. Четырнадцатилетний парень, полуголый, сидел рядом в качестве партнера и почему-то размахивал руками. Максим кротко улыбался и пригласил ее посидеть и посмотреть на игру.

Катя смиренно присела, озираясь. Максим же сразу ушел в игру, почти не замечая гостью. Робко она спросила его о врачах, но вдруг вне его ответа почувствовала, что все безнадежно. Фигура Максима за маленькой шашечной доской стала еще длинней, точно вытянулась. И она сказала, что сходит ему за молоком – почему именно за молоком, она не знала. Вышла на прохладный двор вся в слезах. И тут же на скамеечке подвернулся ей сосед Максима, старичок из квартиры напротив. Катя неожиданно для себя присела около него.

- Что, все играет в шашки? – полюбопытствовал он.
- Играет.
- А иные вот заговариваются, – сочувственно вздохнул старичок. – Если молодые. Разве мыслимо молодым умирать...
- Что же делать?
- Ничего, – резко оборвал старикан. – На том свете разговорится наоборот. Придет в себя, очухается.
- Чего же так сурово?

– Ишь, какие нежные вы. Да я, к примеру, видел человека, покалеченного, разорванного, только что голова цела, в ванной. И в крови по горло. И чувствуешь, что он мне сказал? Посмотрел на меня и спросил: «Что, боишься, старик? А я вот ничего не боюсь».

– Господи, где ж это было? На войне?

– Зачем на войне. На войне ванн нету. Недавно было, в больнице.

– Ну и ну. Что ж, в этом есть своя правда. – И Катя встала со скамьи. – Прощай, отец, я за молоком.

И она исчезла в переулке. Максим тем временем начал свою тринадцатую партию. Сегодняшний счет был 7 : 5 в пользу подростка-чемпиона. Появление возвратившейся Кати мало что изменило, но это странное отсутствие контакта еще больше заставило Катю страдать. Все-таки он сунул ей в руки письмо, написанное крупным детским почерком Глеба, в котором он извинялся за все перед Максимом.

Часы проходили в каком-то диком умилении, и Катя даже дошла до того, что стала следить за игрой в шашки и разбирать в уме позиции. Под рукой у нее оказался атеистический журнал «Наука и религия», и она стала его механически перелистывать. Взгляд ее упал в текст, от которого волосы могли бы встать дыбом: из-за его идиотизма. А между тем продолжались партии, одна за другой, до бесконечности, отчаянно и бесповоротно... «Опять за свое: ничего нет, – вздохнула Катя, отбрасывая журнал. – Вообще ничего нет... Но когда же кончатся эти партии?»

Она запуталась в их беспределности и молниеносной смене: одна за другой. Конец и опять начало. Начало и опять конец. И где-то в разрыве между концом и началом ей удалось встать, обменяться улыбкой с Максимом и, как во тьме, пожать руку и проститься.

Она вышла на улицу. Вечерело, солнечный свет был мягок и нетревожен. Люди спешили по своим домам, исче-

зая, как ручейки, то обеспокоенные, то радостные. С горя она решила зайти к кому-нибудь поблизости и очутилась у дверей мастерской Демина. «Наверное, будет Глеб», – подумала Катя, и действительно, учитель был у своего ученика. Вид Глебушки, после того, как он словно канул в воду на несколько дней, был уже другим: и глаза не так блестели, и чист был, и вроде бы даже не выпивши. Рядом стоял мольберт с начатой картиной.

Но завидев Катю, он загорелся опять. Демина и Светы не было – вышли ненадолго.

Сначала возникла некоторая неловкость: впервые они после всей этой истории с Максимом оказались наедине.

– Я, Катя, не могу так, – вдруг проговорил Глеб, начавши ходить для храбрости по комнате. – Или ты меня любишь, или нет. Если нет, расстаться, наверное, надо. Решай сама.

– Ты же сам так хотел.

– Раньше. Потому что я думал тогда больше о твоей красоте. А не о любви. А теперь я не могу. Грань перешел.

– Ну, вот. Этим всегда кончается.

– Я не только художник...

– Мой милый Глебушка...

– Итак, значит, не любишь. Сердцу не прикажешь.

– Но...

– Никаких «но»! – вдруг с необычайной для него яростью крикнул Глеб. – Ты еще скажи: стерпится – слюбится. Можешь уходить!

– Хорошо, я уйду, – побледнев, ответила Катя.

И она начала собираться. Пошла к выходу.

– Подожди, – он взглянул на нее. – У меня сейчас... Иди, иди. Но прости меня.

Катя стала медленно открывать дверь. Он подошел поближе и тихо сказал:

– Я сейчас просто не хочу тебя видеть. Я боюсь тебя.

И она так же медленно исчезла за порогом, закрыв за собой дверь.

А следующий день был нов и упоителен и нес капельки воскресения для всех, так уверял, по крайней мере, подпольный астролог Миша Потаян. Но день прошел: и настали тревожные, опасные времена, напоенные страхом, надеждой и блаженством. По телефону утром по всему неконформистскому миру Москвы распространялись дикие слухи, сплетни, порой истерические откровения. Вероятно, толчком послужила история с рукописями Леонида Терехова – того самого знаменитого поэта, который скандалил на вечере у Олега. Ходил слух, что он неожиданно для самого себя вовлекся – или его вовлекли – в одно нелепое политическое дело. Кроме того, нашумел слух и о том, что Веничка Дорофеев, автор прославленного мистического романа про алкоголиков, потерял единственную рукопись своей второй книги. Никто ничего не знал точно, все это вместе задело всех за живое и получило название «черного понедельника» – так как Терехов влип в эту неприятную историю в понедельник и в этот же день пошел слух о пропаже рукописи Дорофеева.

«А еще уверяют, что рукописи не горят, – твердил Гена Семенов. – Сколько таких рукописей, картин, стихов за все эти времена сталинского лихолетья пропали бесследно! Даже в определенных архивах их не найдешь. И все это исчезло – для России, для истории, для людей. Никто уже не увидит их. А ведь среди этих рукописей были, может быть, вещи посильней «Мастера и Маргариты». У меня есть основания так говорить. Но и книги исчезли, и авторы: сгинули, умерли, повесились, растворились в страшных годах! И сколько же, сколько мы потеряли безвозвратно, думаю, эта потеря равносильна потере культуры доброй половины девятнадцатого века! Да и сохранится ли для будущего наше, современное, что делаем мы? Никто ничего не знает. Горят картины, горят рукописи – жутким, алым пламенем, и ни-

чего от них не остается, кроме пепла. Когда-нибудь так и земля сгорит – как рукопись, опостылевшая Богу...»

Он говорил все это друзьям в кафе на улице Горького.

– Ну, уж это ты чересчур, милый, – встала тогда Вика Семенова, его жена. – Бог правду видит, да не скоро скажет...

– Ждите, когда Он ее скажет, – прервал кто-то. – Но до того времени все сгорит, и земля в том числе. Одна только правда останется. Без людей.

– Значит, туда и дорога. Заслужили людишки. Кроме них, есть и миры иные, и существа другие. Пусть они и живут. Без людей. Провалились все пропадом.

– Нет, надо верить. Не только в Бога, но и в человечество. И в Россию. Может быть такой расцвет, какого мир еще не видал со дня его основания...

– Ну и оптимизм же у вас, батенька. Остается только позавидовать! Бьют вас, бьют, как собак, скоро совсем с голой задницей оставят, а вы все свое: верую. Ну и ну! Всему есть предел.

Разговоры такого плана так и разгорались по разного рода кружкам и компаниям.

– Да нет, и рукопись Дорофеева не пропала, и с Тереховым все будет благополучно, – уверяла всех Люба Демина. – Рукопись хранится в надежном месте. Это роман, он называется, кажется, «Скрябин», хотя никакого отношения к Скрябину не имеет.

– Нет, все пропало! – отчаянно твердила курносая Вера Тимофеева. – И все пропадет!

Эти волнения самым убийственным образом подействовали на Валю Муромцева, который в очередной раз перепрятал свои рукописи. Он уже относился к этому «перепрятыванию» чисто сюрреалистически: даже не уяснил себе вполне ясно, от кого он прячет свое творчество, и кто за ним охотится. Может быть, за его рассказами охотились полувоплощенные выходцы с того света, продырявившие щель в «великой стене», защищающей земной мир от невидимого, и о чьем появлении так

грозно предупреждали древние... Или может быть, кто-то просто хочет украсть его «бессмертие». В то же время он стал относиться к этому немного спортивно: удастся ли спрятать так, что на сто процентов не найдут – по крайней мере, предполагаемые земные недоброжелатели.

И рано утром – как раз после ушедшего дня тревожных забот о рукописях – он совсем затосковал, тем более что долго, два-три дня не видел никого из своих друзей, разговаривая с ними только по телефону. «Организовать, что ли, какое-нибудь пиво, без водки, просто чтоб пообщаться поскорей. А то совсем с ума сойдешь от всего этого сюрреализма 20-го века», – подумал он, набирая телефон Олега.

Олег охотно отозвался.

Договорились у «сидячего» памятника Гоголю у Арбата – там, как известно, было два памятника писателю: один из них был старый, в сквере, где Гоголь сидел, окруженный хоромом каменных героев.

Валя устал душою, пока добирался до места встречи: настолько велико было желание поскорее увидеть «своего», погрузиться в общий мир. И погибельное настроение сразу испарилось, как только он увидел чуть блаженное лицо Олега. После объятий, поцелуев и двух-трех слов Валя был уже далек от всей тяжести земной жизни, точно ее – этой тяжести – не существовало вообще. То же самое произошло и с Олегом. Они умудрились быстро, несколькими фразами, выложить то, что таилось в глубине, точно передавая друг другу свои последние знаки. И даже простое, по глазам: «Ты держишься?» – «Конечно, держусь» – было не лишним в их положении.

Но главным, конечно, было глубинное и тайное, передача его была молниеносна, и иногда без слов. А потом уже можно было перейти на более простой язык: что случилось, кто о чем думает, что пишет. И не заметили, что шли по переулочкам в метро. Нервы разрядились, и душа отдыхала в радости

и полете. Олег не так уж часто виделся с Муромцевым, но необычайно ценил особые пути их отношений, эти потайные беседы. Часто они проводили время в ресторанчиках, одни, за кофеем, удаляясь потом ближе к лесам, паркам, окраине – для покоя – но завершая обычно свои встречи в бурной компании.

Но на этот раз Олег сообщил Вале, что к ним хочет подсоединиться Катя и Вика Семенова, и, может быть, Демин, и что надо подъехать к Семеновым, там рядом есть хороший «заныр», где можно отдохнуть от мира сего. «Заныром» называлась какая-нибудь мистически-отъединенная квартира, или просто особое место, где можно встретиться и где все направлено на свое, внутреннее.

У Семеновых их уже ждала Катя Корнилова и Вика (сам Гена не смог разделить их общества – уехал по делам). Квартира была большая и прохладная, с портретами неизвестных русских людей из тьмы веков, и все они смотрели как живые на своих странных потомков. И никакие тяжелые шторы не могли заглушить блаженные, и в чем-то до боли родимые звуки шагов на тротуаре – то были шаги живых бедных людей: квартира располагалась на первом этаже.

Вика и Катя отдыхали в глубоких креслах, смеялись и чуть не плакали, пили розовый слабый портвейн, и Бог знает о чем говорили. Приход Олега и Муромцева сделал обстановку еще родней, и точно огненное драгоценное вино – вино совместного общения – разлилось по комнате. И было упоенно и сладостно не только от того, что всякий знал, что каждый любит другого – в запое таинственной русской дружбы – но было еще в этом и нечто иное: вознесение в сферу какого-то тончайшего рая. И, наконец, душа, если и оставалась здесь, то была уже не одна, хотя и противопоставленная всему миру и жуткой, бесконечной неизвестности, скрытой в невидимом.

Можно было ничего не стыдиться, и плакать, и возвыситься тут же, и знать, что ты соприкасаешься с истинным со-

кровищем... И такое общение разливалось по всему московскому миру, и ему не было конца, как не было конца нежности и опьянению от встречи друг с другом.

И единственное, что, может быть, тревожило – уж слишком «затягивало» такое общение, возникала жажда обретать его каждый день. Все время кто-то с кем-то встречался, и дружбу такую уже и дружбой нельзя было назвать – ибо было в этом нечто более значительное: сотворение совместного духовного мира, может быть, спасение, укрытие и вознесение... Муромцев часто удивлялся: перед встречей (а это было почти каждый день) с кем-то из «своих», неважно кто это был, мужчина, женщина, поэт, художник, бродяга, но обязательно «свой», то есть глубинный, у него было такое ощущение: что-то невероятное и разрешающее все вопросы должно случиться. Случиться в духовном смысле: то ли будет какое-то «откровение», то ли вдруг все они будут спасены (и метафизически и банально), то ли обнажится такое, от чего ум пойдет вверх дном. И действительно: все это было (но спасало ли до конца?) и открытия, и внутренние знания, словно током передающиеся, и предельные обнажения. За один час от встречи с некоторыми можно было познать более, чем от чтения томов книг. И все это было озарено и жизнью и духом.

Но у Вали возникало порой даже такое чувство: должно случиться последнее откровение, нечто бесповоротное и решающее. И на некоторые встречи он отправлялся чуть ли не как на последние. И хотя ничего «последнего» все-таки не происходило, это ощущение поднималось вновь и вновь перед другими встречами и вечерами. И кроме того, была иная жажда: просто погрузиться в блаженство общения, во все его бесконечные пласты. Это превратилось в такую жгучую потребность, что Вали не мог долго быть один, например, на даче, и через два-три дня устремлялся в Москву, к друзьям. Хотя казалось – каждый из них – так любил и знал цену одиночеству, в котором могло рождаться великое и духовное. Но при этом была жажда быть

со своими. «Времени на творчество не хватает, – жаловался Генна Семенов. – Не дают жить телефонные звонки». Но потом добавлял: «Что ни говори, а интересней человека ничего нет на земле. Как ни вертись. Все остальное – уже вторичное».

И этой жажде, этому общению были подвластны почти все. «Дело в неисчерпаемости души, – твердила Люба Демина, – хотя мы и несчастные, но неисчерпаемые». Но «несчастливыми» мало кто себя чувствовал, большинство наоборот...

И вот опять они вместе. Катя улыбается Муромцеву: «Что в тебе сейчас, что?.. Я чувствую – это что-то родное, мое. Где-то там в последней клеточке души... Передай глазами».

Таково было первое «рукопожатие».

И понеслось, понеслось – дальше, дальше, между словами, за вином, в словах, на звезде. Но «отключаться» договорились в ближайшем «заныре». И поэтому Вика Семенова первая встала с кресла, поглядела на часы и сказала:

– Нас уже ждет там Толя Демин.

«Там» – значило в одном из здешних открытых «заныров», то есть не на квартире, а недалеко от пивной, во дворике, где ощущались особые влияния. «Влияния» же выражались во внутренней «психологической» ауре каждого «заныра», присутствующей только ему. И вместе с тем во всех этих местах было и нечто общее. Там легче было «отключиться», то есть уйти в свой мир.

За это они и ценились.

Пришлось подняться и выйти из гостеприимной семеновской квартиры. «Заныр» находился недалеко: быстро прошли два-три переулка. Это был, на первый взгляд, всего лишь узкий дворик, с зелененькой травкой, как бы старомосковский, затерявшийся между деревянными домиками. Но тут же рядом возвышались огромные серые современные здания, уходящие в небо. Они были очень высоки, особенно если смотреть на них из этого маленького дворика. Но главное – дворик нес «ауру»: это чувствовали почти все, но особенно Демин, который считал-

ся знатоком потаенных мест. Он мог сразу определить, войдут ли «влияния» в душу, если начать выпивать в избранном месте. И что еще важно – какие влияния до тонкости. Муромцев тоже считался знатоком аур, но больше почему-то деревенских: до того, что он мог чувствовать состояние каждой березки, и знал, под какой лучше всего «отключиться». Демин же был большой специалист по городу и находил смысл даже в однообразных до неприличия новостройках: от противоположности. Но особенно он был неутомим в выборе затаенных старомосковских дворов, где после первого глотка водки можно было чувствовать себя погруженным в бесконечно родные стихии.

В этом дворике, около семеновской квартиры, было влияние «тоски, облаченной в смирение», и кроме того – трогательность, иногда сводящая с ума. И еще влияние тайны. Дополнительным моментом было грозное присутствие 20-го века: рядом виделись огромные здания.

Кроме того, была канавка, у забора, и бревна, и как-то в этом месте можно было тихо посидеть, не раздражая своей вольностью никого.

Как и ожидалось, Демин уже был у заветного места. Его Люба не могла прийти: сдавала экзамен.

Расположились спокойно себе, не забывая про сумку с пивом и вином.

Да, «влияния» были, и даже с неба они шли: бездонного, серого неба над головой. Но дворик все превращал в вечный уют. Одинокая старушка на скамье проводила их застывшим взглядом, пока они не исчезли за бревном, в канавке, рассаживаясь кто как мог на земле... И сам ветер здесь навевал покой.

И все-таки последствия «черного понедельника» не оставили их и здесь. Вспомнили пропавшую книгу Дорофеева. От нее мысли перешли на книги вообще, и Катя рассказала свой сон: о будущей последней великой книге мира сего. И кажется, название ее было «Паук».

– Ох, Катенька, убедилась, убедилась, – вздыхал Муромцев. – Так оно и будет. Или что-то в этом роде.

– Достать, достать эту книгу! – совершенно истерически добавила Вика Семенова, выпив стакан пивка с водкой. – В библиотеке. Да-да, именно в читальне. Прийти и перелистать.

– В невидимой библиотеке, – подхватил Олег.

– Да, время – это иллюзия, – пробормотал Муромцев. – И конечно, на каком-то уровне такая книга уже есть. Не обязательно это «Паук», приснившийся Кате. Но должна же быть последняя великая книга человеческого рода! И она уже где-то есть. Только нам ее не читать. Хотя кое-кто, может быть, ее прочел. Большая квалификация для этого нужна.

– Пусть тень ее падет на нас, – проговорил Олег. – В этой тени да будем писать наши книги! Выпьем за это!

– Паук... Паук... – отвечала Катя, поднося стакан животворного кипящего пива к губам. – Допустим, будет конец (или, вернее, трансформация и отсечение) – значит, книга о его причине... Но если б причину poznали, то...

– Значит, книга та закрыта для людей, кроме посвященных... А я бы выпила за Анти-Паука!

И она встряхнула своими золотистыми волосами.

– За Анти-Паука! – вскрикнул Демин. Все ладненько так выпили за это.

– Да, книги, книги, – произнес Олег. – Я слышал. Есть сейчас кое-что. Очень скрыто. В Москве. Две-три книги, рукописи, очевидно... Но в них – ключи. И лучше даже не думать – к чему. Это уже слишком. Давайте я расскажу вам свой сон. Недавний.

– Сон?

– Да, но не обычный, а явно... другого рода. Так вот. Лес. Дорога. Проходят незнакомые люди. Мы сидим за столом с моим другом. Художником. Какую-то связь с ним ощущаю. И вдруг он говорит, что он – убийца. Я поражен, я не хочу этому верить. Я – в отчаянии. Но он говорит спокойно, словно во-

обще не скрывает этого. Он убил женщину. Показывает в сторону – на траве, у сарая, инструменты убийства. И потом мой друг рассказывает о чем-то постороннем, даже ненужном, к убийству никакого отношения не имеющем. И затем уходит. Появляются новые люди, о чем-то спрашивают, и я боюсь, что убийство обнаружат... Потом сразу картина меняется. Поле... Подготовка к некоему торжеству. Я вижу моего друга – художника. Много людей. И среди них судьи, пытающиеся найти того, кто убил. Кругом продают билеты. Вдруг оказывается, что должна состояться выставка картин моего художника. И вот почему торжество. Когда об этом узнают, судьи как-то ступевают. Картина эта особая. Она – движущаяся, она составлена из предметов жизни, а не написана на холсте. Я жду. И вот появляется картина: в виде странной процессии, идущей по дороге. Вдали виден средневековый замок. Идут люди в черном, с горящими факелами, и несут на ложах... какие-то восковые фигуры, может быть, статуи. Они лежат как будто в гробах. И от всей картины – состоящей из людей в черном, лож-гробов и фигур в них – веет невероятной красотой, мистической и земной в одно и то же время. Живая картина идет на нас. Созданная моим другом-художником. И вдруг я понимаю, что одна из фигур на ложе – труп убитой им женщины. Он замаскирован под одну из восковых фигур. Худые люди в черном, в процессии, высоко поднимают длинные свечи. Зачем это нужно художнику? Может быть для того, чтобы скрыть убийство? А может быть, труп необходим ему по замыслу картины? И в этом состоял смысл убийства? А может быть и то, и другое? Никто не знает. Но я слышу слова из какой-то книги, ужасающие по красоте и силе. От всего этого как бы раздвигается небо. Все зрители идут за картиной. Кто-то хочет прикоснуться к ней. Чтобы набрать сил. Но я знаю, что главное – нельзя дотронуться до мертвеца, до трупа убитой женщины. Определенно, она – самый тайный, самый сакральный элемент картины, интимный

и страшный. Чудовищной красотой веет от картины. И те судьи не могут разгадать, что одна из фигур – труп. Они как бы исчезают. Это значит, что преступление будет скрыто навеки. Процессия медленно идет к заходящему солнцу. Впереди – мистический город. В закате, а может быть, в заре. И мы идем туда, вслед за процессией. Странное, неумолимое шествие, объятое незнаемой красотой. Куда мы идем?.. К этому городу? Но что значит этот город? Я не знаю. Нет, мы идем не к дьяволу, но и не к Богу. А в какие-то никому неизвестные регионы потустороннего мира. И тут все пропало, я провалился в сон без сновидения... Потом проснулся – но это видение так и стояло в уме.

– Ну и сон! Вот это да, – пробормотал Муромцев. – Но с кем все-таки шествие в неизвестные регионы – с Богом или с дьяволом? – добавил он, рассмеявшись.

– Пожалуй, с Богом, но не с «человеческим»... Не знаю.

– Брр... Какая символика, – вздохнул Демин. – И живопись...

– Гениальность и преступление, искусство и...

– О, такой сон сразу не раскроешь. В нем много уровней...

– И, конечно, там нечто большее, чем эта тема: искусство и преступление, – улыбнулся Олег. – Что меня поразило в этом сне – сверхчеловеческая гармония. Правда, один элемент этой гармонии – зло, преступление, но он таинственным образом укладывается в общую картину. Значит, зло – необходимый элемент сверхчеловеческой гармонии. Это не оправдание зла, ибо на человеческом уровне ему нет оправдания, но на уровне богов – все укладывается по своим местам. У богов другое виденье и другая «ментальность». Они видят картину Вселенной в целом, а не один ее срез, как мы. И вот, может быть, этот сон – о сверхчеловеческой гармонии. Но почему тогда картину создал художник? Да еще пытаюсь, может быть, скрыть свое преступление, превратив его в элемент искусства. Эх, нам и собственные-то сны полунедоступны. Не боги, чай...

Катя расхохоталась, удивляясь такому неожиданному спаду, и подбодрила:

– Жуткая, жуткая символика, Олег. И не однозначная. Поздравляю с великим сном.

– Благодарю.

– Ох, Олежек, Олежек. Все-таки иногда даже мне бывает страшно, – сказала Катя, и какая-то родная дрожь появилась у нее в голосе. – Но чем больше я живу, тем больше люблю свое тело. Нет, не только нарциссизм и женственность. Главное – защита, защита... От тех, невидимых. Как бы не набросились.

– О, конечно, конечно, – подхватил Муромцев. – Пока, до смерти, это надежный покров. И кроме того, в теле не меньше тайны, чем в духе. Но не в том смысле, как думают сатанисты. Это тайна – за семью печатями...

– Отлично, Олег, – вмешалась Вика, в полуиронии и в восхищении одновременно. – Дай Бог, чтоб и нам как-нибудь взглянуть сверху на эту сверхчеловеческую гармонию. Особенно это полезно матерям, у которых убивают детей. Бывают такие случаи.

Помолчали.

– Может быть, и у богов есть зло, которое не укладывается в эту гармонию. Или если укладывается, то только через Центр Парадоксов, – произнес Муромцев. – К тому же и «да» и «нет» существуют одновременно. А ключ к этому сну, по-моему, не в гармонии, а в том, что труп убитой – самый сакральный элемент картины... Но в конечном итоге, тайна зла никогда не будет раскрыта полностью ни на уровне человека, ни на уровне богов...

– Ох, Валя, ты уже занырял, – вздохнул Олег.

– Оставим в покое мировое зло! – проговорил Демин. – Хотя как-то оно связано с Абсолютом... Подумаем о себе... Мы, мы... Почему мы такие родные друг другу!? Особенно, наверное, в самой последней безбрежной и сокровенной глубине. Вот в чем вопрос... Может быть, любовь друг к другу спасет нас.

Всех. Не квази-разумные отношения, на которые русские органически не способны, а именно крайнее: любовь...

– О, да, да! Это может перевернуть все. И поэтому главное: жить, жить! – воскликнула Катя. – Вернее, быть. Выпьем за это, – и она подняла свой стакан. – Какой здесь уют... Бесконечный. Этот дворик – из Достоевского. Он – наш. В нем тоже – тайна.

– Наш, наш, наш, – посмотрел на нее расширенными глазами Муромцев. – И мы – вместе.

– И так, за русских мальчиков – по Достоевскому!

– И за русских девочек – они теперь в пути вместе с нами!

Опять воцарилось молчание. Только взгляды говорили за все. Так прошло... неизвестно сколько времени.

Вскоре, однако, перед ними появился милиционер.

– Распитие в общественных местах запрещено, товарищи, – сурово, но дружелюбно сказал он.

Надо было уходить.

– Бедная Светочка Волгина, – пробормотал Муромцев. – Ее тоже вчера из подобного заныгра выгнали. Не понимаете вы, товарищ милиционер, как нам здесь хорошо!

И они вышли на улицу. Одинокие прохожие на улочках были погружены в себя. Явно – всем хотелось теперь расслабиться, отдохнуть, уйти в душевный отпуск... Тут же обнаружили припасенные деньги. И они понеслись: в кабак, к цыганам. Не так далеко был расположен Речной ресторан, там по вечерам танцевали и распевали свои песни «они» – «осколки» древнего мира, цыгане. Когда подходили к реке – не заметили даже, что стало вечереть.

Ресторан был огромен, но уютен и полупуст. Цыгане уже выступали на эстраде. И звуки музыки и неистовый внутренний танец захлестнул их души.

– Что-то близкое в этом есть, – пробормотала Катя.

– Эх, смешать бы эти ритмы с нашими, глубинными.

А слова – из Олега что-нибудь, получился бы сильный напиток, – отозвалась Вика. – Любил же Блок цыганщину...

Было выбрано подходящее настроению вино. И опять возобновился разговор, но в его ритм и слова врывается уже вихрь цыганских напевов. Слова сливались с ними, со звоном бокалов и жаром глаз. Это была музыка – вне времени – но не вне душ. «Когда-то гордый и надменный, теперь с цыганкой я в раю: и вот прошу ее смиренно: спляши, цыганка, жизнь мою». Но этим цыганам, которые были перед ними, не удавалось сплясать современную жизнь: ее концы уходили в неизвестное будущее, где неизвестно, нашлось ли бы еще место для цыганских плясок; да и настоящее вырывалось из этих ритмов...

А беседа продолжалась, и ее слова были слишком многозначны для цыганских бедствий. Но музыка вносила свой подтекст.

Разговор становился все более и более обрывочным, но стремительным и даже бешеным.

- Перейти, перейти через грань...
- А у него истерика: всюду, кричит, тюрьма! Жажда иного берега сводит его с ума.
- Лишь бы жить, лишь бы жить!
- Лишь бы покончить с жизнью... Но чтоб светила другая, там, за обрывом...
- Просто глупо коверкать почерк завершенных почти пророчеств...
- Олег, выбросьте грусть из головы: искусство победит. Наши памятники должны стоять друг против друга на площадях будущей Москвы.
- Бог с ними, с памятниками. Где мы сами будем тогда, в каких мирах, в каких оборотах, вот что важнее. Боюсь, нам будет не до этих монументов...
- Естественно... Да, вот так. Тяжело будет из ада созерцать собственный памятник.
- Мы не попадем в ад.
- Найти, найти спасение...

– От чего спасаться-то, Господи?! Ведь сейчас, сию минуту – как хорошо! С теперешним-то Я! Только время, время не останавливается. Вот в чем дело. Остановить бы время! А оно идет и идет. И все быстрее, подлое... К развязке.

– Тот, который всегда внизу, осторожно разложит суть...

– Взорвать бы этот земной шарик, взорвать! Опоганили его совсем. Только вот где тогда плясать будем?

И Катя сплясала. Вместе с пьяным Олегом. Ей удался этот танец, и люди за другими столиками тоже смотрели на нее, и даже аплодировали. Все ее движения отражали вихрь и загул. Волосы ее разметались, и танец завершился в душе.

– Танец с того света, – заметил Муромцев. – Я не про Катю говорю. Так пляшет Ларион. Но и Катя хороша – в огне...

– Мы чуть-чуть разгулялись сегодня. А ведь хотели просто тихо посидеть...

– Охладиться надо чуток...

«Охладиться» – да и деньги кончились – решили у Сергея Потанина. Вика уже звонила к нему – ибо туда должен был придти Гена Семенов.

...Сергей Потанин являл собой одну из любопытнейших фигур Москвы. Вышел он из простой, бедной семьи, и до своего появления в шестидесятых годах в неконформистской Москве прошел трудный и многоликий путь. Он был солдатом на войне, кочегаром, поваром, артистом цирка, лектором, сторожем... пока не стал писать стихи и не вошел с ними в неконформистский мир. Очень быстро у него сформировался свой круг. Его поэзия того времени была оригинальна и доступна: в ней изображалась повседневная жизнь, но так, что она превращалась в гротеск, в сюрреализм. Точнее, сама жизнь была сюрреализмом, а не стихи. Стихи только с точностью часового механизма отмечали это – просто, экономно и выразительно. Такую поэзию, однако (ее окрестили «помойной» в официальной прессе), трудно было опубликовать: хотя она, как всякое искусство, скорее

выводила из помойки, чем вводила в нее (последнее, как и во все времена, было привилегией жизни, а не поэзии). Но соотношение между жизнью и искусством трактовалось тогда в некоторых сферах с такой веселой жеребьячьей упрощенностью, что это стоило Потанину многих неприятных дней. Он поседел, но не сдался. Как ни странно, он стал публикующимся детским поэтом – и очень хорошим. Но свою «взрослую» поэзию он не оставил – наоборот, слава его разрасталась как раз за счет его подпольной поэзии, хотя он писал уже другие стихи: космические циклы, стихи про монстров – взрывные, новаторские, и отточенные технически. Вместе с тем статус детского поэта позволил ему неплохо существовать и квартира его за Таганкой превратилась в гостеприимный дом для неконформистов. Немногие среди последних могли сочетать «официальное» с «неофициальным», но были и такие, и к ним относились без предубеждений.

Не только «взрослая» поэзия, но и жизнь Сергея Потанина была вполне неконформистской, во всяком случае, в душевном плане; сам его вид – высокого, седого, средних лет мужчины с суровым, большим лицом, с татуировками на теле – точно взывал к безумствам и лихостям.

Последнее время он писал новаторский роман (о богеме), такой же бытовой и бредовый (в лучшем смысле этого слова), какой и была его жизнь. В стихах его таилась глубина, так же как и в его зеленом глазе, настороженном и неподвижном.

Наши друзья прибыли из Речного ресторана к Потанину, когда у него стоял дым коромыслом и «отключалась» небольшая, но шумная компания: три художника, курящая вовсю девица, Виктор Пахомов, Гена Семенов и одиноко маячивший в углу библиофил Андрей Крупаев. Еще должна была подъехать Люба Демина, которую известили о «сборе» у Потанина.

Жил Сергей Потанин один, вольной холостяцкой жизнью.

Его маленькая квартира, напоминающая музей, уже была пропитана дымом сигарет и напоена звуками восточной музы-

ки и сумасшедшими разговорами. Сам хозяин в большом синем персидском халате сидел в кресле и пил чай из пиалы. Водки было немного: Сергей – периодами – не выносил пьянства.

Потанин действовал на других как-то странно: в его присутствии все почему-то трезвели, но по-особенному: оставаясь пьяными. Да и стихи его действовали как наркотики, но в ином смысле.

– Вот у кого надо учиться, – успел кто-то шепнуть Олегу. – Сергей-то и сумасшедший в высоком смысле этого слова, и в то же время, глядите, как устроен. Это вам, Олег, не ваша дикая коммунальная квартира. Пора и вам двинуться по этой стезе... Детские стихи не отнимут много времени.

Олег отмахнулся.

– Нет у меня ничего детского в душе. Нету. Пропало все, что и было. Пускай теперешние малыши подрастут, тогда, может быть, меня будут печатать.

В углу захохотал Андрей Крупаев. Его лицо было совершенно замученным и потерянным...

Через десять минут новоприбывшие уже знали текущие события «неконформистской» Москвы, которые произошли за часы их пьяного уединения в «сокровенном» месте. А чай необычайной крепости и аромата вернул их к тишине.

Потанин при всей своей фантастичности навевал, однако, отнюдь не апокалипсические настроения. Его стихи, которые он иногда вдруг начинал читать посреди разговора, были безумны, но в каком-то устойчивом и мирском смысле: этот мир-де безумен, но оправдан и вечен.

Много курившая девица долго хохотала после его стихов. Вошла, наконец, покрасневшая Люба Демина. Ей вручили штрафной бокал водки, и для смягчения – потанинский ароматный чай.

– Не будет, не будет конца свету, – отрезал один из художников, чокнувшись с ней пустой рюмкой. – Все пророчества на-

до понимать наоборот. Тогда откроется истина... И вообще обратите внимание на подтекст...

– Хорошо, неужели ты думаешь, что этот современный человеческий маразм будет продолжаться бесконечно?

– Будет чудовищная трансформация.

– Если «чудовищная», то ведь это одно и то же, что конец и новое начало. Мировой огонь – и преображение.

– Ну и что ж, все это не так долго будет длиться. Огонь вещь скорая. А потом – другой мир...

– Нечего спорить. Мы живем на каком-то страшном переломе. Чувствуется приближение... Пусть не конец, но перелом. В конец близкий я не верю. Единственно, что тяжело – почти буквальное воплощение некоторых черт, о которых говорилось в древних книгах и пророчествах.

Но Катенька прервала этот поток.

– Пуцай хоть конец! Лишь бы то «Я» во мне, в нас, которое я вижу внутри временами, осталось бы навечно! Какая это тайна, какой пожар затаенный...

– Нет, нет, долго, долго будет стоять этот мир. А чувствуется верно: перелом подходит невиданный. Тем более и маразм не может продолжаться вечно.

Потанин чуть-чуть пустынно посмотрел на говоривших своими сумасшедшими зелеными глазами и сказал:

– Но Бог и маразм – вот два полюса, и оба они вечны по-своему.

– Вот именно, именно! – захохотал наоборот чокнувшийся с Любой художник. – Если хотите вечности, господа-товарищи, то человеческий род надо подтолкнуть, и его уже давно толкают, в противоположную от Бога сторону. Дело только в том, что все время остаются какие-то люди, которые еще как-то связаны с божественным, с реально божественным, а не с пародией на него, которая существует везде как более эффективный вариант атеизма. Вот если все погаснет – ведь последний

толчок только нужен, и чтоб людей этих не было – тогда-то человечество погрузится в такую жуткую тьму, из которой уже нет возврата. Вот вам и обратная вечность. Это то, что оккультисты называют подземным миром. Земля станет подземным миром, куда ни один луч от Духа уже не проникнет никогда. Ха-ха-ха! Чудная будет жизнь!

Вика Семенова истерически рассмеялась.

– Вы поэт, поэт! Но этого же никогда не будет в целом для всех людей, только часть туда отсеется, в низшие миры, пусть большая, – чуть не крикнула она. – А картина хороша!

– Картина для писателя.

– Про последний толчок хорошо сказано. Пора, пора! – умилилась Катя.

Так тихо продолжался этот мирный вечер. Иногда позвякивал телефон, и Потанин, чуть не по-матерному ругаясь, объяснял в трубку, что детские свои стихи он все равно сдаст вовремя, и пусть об этом не беспокоятся.

Вспомнили о блаженнейшем Лехе Закаулове, который опять куда-то пропал. Было несколько версий, но больше поговаривали о том, что влюбился он отчаянно в синеокую Волгицу, и оттого по-светлому затосковал.

Это предположение навеяло грусть на Муромцева.

Вспомнили и еще о ком-то, ушедшем в леса.

Но сам Потанин оставался холоден и невозмутим. Попивая свой неизменный чай, он посматривал на гостей, и в выражении его лица было что-то сурово-аристократическое, и потому безумное в наш век. Много курившая девочка бросила курить, и прилипла к нему, чуть не плача. И Потанин как-то умудрялся охлаждать ее пыл почти буддийским покачиванием головы.

– Я вам завидую, Катя.

С этими словами к Корниловой неожиданно подсел Виктор Пахомов и, печально по отношению к себе усмехнувшись, посмотрел на нее.

– Что так?

– Ха-ха-ха... Вы сами знаете. Давайте я поцелую вас или лучше спую.

И Виктор поцеловал ей руку – внезапно для всех.

Через час-полтора квартира эта погрузилась в приятную, но разорванную вечернюю меланхолию. Горели свечи, и все было окутано полумраком, только по углам виделись тени. За окном, подобно Млечному пути, синевела и мерцала огромная Москва. И разговор перешел в полусшепот, прерываемый иногда тревожными восклицаниями... И допивалось последнее вино и восточный чай, и горел глаз Сергея Потанина.

Уже поздно, к полуночи, зазвонил телефон, и издалека Борис Берков сообщил, что у Леонида Терехова все в порядке.



Владимир Титов | Пивная | 1977 год

Глава тринадцатая

Пока происходили все эти встречи и волнения по поводу судьбы рукописей и конца мира, Нина Сафронова успела дозвониться Саше Трепетову. К ее удивлению, она почувствовала, что он ее примет на этот раз. Договорились вечером, у Саши, на его квартире, у Павелецкого вокзала.

Необъяснимо почему-то тревожась, с сильно бьющимся сердцем, Нина подъезжала к этому дому. Медлительный трамвай, на котором она ехала по кривым переулкам, казался ностальгическим, как карета девятнадцатого века. Домик, где жил Саша, находился во дворе – и это был опять-таки старый московский дворик с двухэтажными оштукатуренными строениями. Саша жил в небольшой коммунальной квартире, другие жильцы отсутствовали. Ей понравилась простота и даже суровость его жилища: стол, стулья, железная кровать, множество книг – и две картины на стене, подпольных художников. На них были изображены фантастические, точнее символические чудовища – впрочем, имена художников ни о чем не говорили Нине. Саша встретил ее дружелюбно и легко. Его подъем сразу передался ей. Нине вдруг захотелось идти, бежать, лететь – вместе с Сашей, куда угодно, хотя бы в ночь, но лишь стремительно двигаться, уходить в неизвестное.

И ни о чем ей не захотелось его расспрашивать. Хотя некоторые полунамёки и полусимволы были неизбежны, и они прозвучали.

Быстро распили подвернувшуюся бутылку вина. Нина бросала взгляды на стены, на заглавия книг, и некоторые обожгли ее сердце (были они как на русском, так и на иных язы-

ках). В память почему-то врезывалась каждая странная мелочь в этой комнате.

И потом они, точно кружимые вихрем, сорвались с места. Саша захотел показать ей хотя бы часть Москвы своей юности. Когда они вышли, уже стемнело, но прежде чем начать путешествие, они бросились в ближайший ресторан.

И когда вышли оттуда, Саша сказал:

– Пойдем. Конечно, это поездка не ко внутренним звездам, но зато можно увидеть кое-какие обломки давно пройденного пути и встреч и забав. Скорее даже забав – с моей теперешней точки зрения.

И они понеслись, с метро на такси и дальше... Первая остановка была в Сокольниках, в маленьком деревянном домике, где их встретила совершенно чудовищная старуха.

– Уж не любовница ли твоя бывшая? – осведомилась шепотом Нина.

Саша улыбнулся.

Огромная толстая старуха еще уместалась в кресле и синела там в своем редком халате. Вокруг нее клубился дым.

– Определенно некромантка, – подумала Нина, заглянув в застывшие, бездонно-черные глаза старухи, которые выделялись как две потусторонние лягушки на ее разрушенно-мертвом лице.

– Шадитесь пить чай, – прошамкала старуха. – А вы, Александр, не озорничайте...

В одном глазу старухи прошмыгнула ласка...

– Вы только, Марфа Петровна, Нину не обижайте... – ответил Саша. – И не надо обычного...

– Да, да, обычного – не надо... – повторила старуха. – Сегодня не надо.

Расселись вокруг нее. Она была как бы круглым центром, украшающим комнату. Помянула почему-то вслух покойного поэта Жуковского и ученого Лобачевского.

– У меня такое ощущение, что вы жили тогда, Марфа Петровна, – лет сто пятьдесят назад, что ли, – высказалась вдруг Нина. Но старуха обиделась:

– ...Штой-то вы меня молодите-то... Детка.

Она вдруг застенчиво и даже как-то по-девичьи взглянула на Нину, и сладенько отхлебнула чаю из пиалы.

Смех брызнул из ее глаз. Но это было лишь на мгновение, потом взгляд ее опять обездонел.

– Но не думайте, што я по-вашему тогда жила... А то вы, небось, по-человечьи меня понимаете.

И глаз ее мудро заулыбался. Мудрость эта была спокойная, очень странная и какая-то смиренно-черепашечья, точно старуха копалась в невидимых трупах, раскинутых вокруг нее в пространстве.

И вдруг она впала в ярость. Окаменевшие глаза ее заблестали, голос, раздававшийся из глыбы затвердевшего от старости тела, стал живым, даже чуть-чуть поросячьим. Но в глазах зияла бешеная энергия и воля:

– Да, да, я умру! – кричала она. – Но я оттудава буду управлять этим. Оттудава!.. Оттудава!.. Все обниму, всем насыщусь. И вы меня не достанете. И времени вашего поганого для меня не будет! Я – буду царить! Я!

Ее толстая рука протянулась в воздухе, и кулачок сжался, точно хватая сам себя.

Ниночка чуть-чуть обомлела, и внутренне ей стало всех жалко, и старуху тоже.

Но Саша оставался спокойно-отрешенным и помешивал ложечкой чай в стакане.

– Будете, Марфа Петровна, будете, – успокаивал он ее, кивая головой. – Практика у вас есть. Будете. Почему бы вам и не быть...

– А вы, Лександр, не перечьте, – обмякла слегка старуха. – Не ваше это дело, и ладно. Каждому свое.

И чаепитие пошло смиренно. Старуха забылась и ушла в себя, не обращая на гостей особого внимания. Слова ее стали застывшие-отвлеченными, и воля была где-то не здесь.

Напившись, церемонно простились с хозяйкой, и оказались на улице. Нина жалась к Саше, но расспрашивать почему-то постеснялась. Глаза старухи преследовали ее.

Но вскоре они очутились совсем в другом месте, и новое острое впечатление: необычный дом, квартира, а в ней красавица, чем-то похожая на Элен – ту самую, из прошлого, из путешествия к «королю».

– Да, это определенно Элен, – подумала Нина, здороваясь. Зеленые глаза незнакомки смотрели хищно и глубоко, но отчужденно, будто это была Элен и в то же время уже не Элен.

Их поили ласковым дорогим ликером, и Нине казалось, что незнакомка судорожно хочет остановить для себя время (и некоторые таинственные книги вокруг нее как будто указывали на это); белая, нежная длинная рука ее, вцепившись в ручку кресла, непонятным образом подтверждала эту мысль... Взгляд незнакомки иногда становился яростно-неподвижным, а потом замирающим, и из глубины этого замирания мерцали тогда бешеные, темные, упорные огоньки.

– Может быть, они означают ее страстное желание жить... жить здесь! – мельком подумала Нина, приглядываясь...

Но незнакомка вдруг улыбнулась, и от этой улыбки Нине захотелось встать. И потом – закружилось, закружилось и полетело! Они покинули зеленоглазую незнакомку, и сидели вдвоем во тьме такси, и Нина с бесконечным доверием прижалась к Саше, и опустила голову ему на плечо. И они мчались так – в ночь, в пустыню мрака, где горели все те же потаенные огни.

И так они оказались на кладбище.

Пришлось проскользнуть в дыру в заборе. И они очутились у свежей могилы. Зажгли карманный фонарик.

– Кто это? – спросила Нина.

– Юлий, здоровяк, – ответил Саша. – Мой школьный товарищ. Еще недавно пили с ним в Парке Горького с Ларионом Смолиным и Олегом. Просто хотелось бы поклониться праху. У него особые счета с жизнью и смертью. Потому и ушел. И за него не надо молиться.

Нине показалось, что могила была как живая; во всяком случае, такое было у нее впечатление, когда она вглядывалась поглубже... (Вообще могилы для нее разделялись на «живые» и «мертвые»). Да, да, она видела этого человека как-то раз: танцующего и розового. И в могиле этой – внутри нее – он почудился ей таким же: розовым и если не танцующим, то умудренным.

– Какой-то он сейчас сознающий свою миссию, – закончила она.

– И оставим его теперь при своей миссии, – закончил Саша, и они так же внезапно исчезли.

А через полчаса они были в комнате, где происходили своеобразные и запоздалые поминки по Юлию. Было три седых старика, и друг покойного Степан – с уголовным лицом и в тельняшке. Последний все время плакал, чуть не размазывая слезы по своему костылю.

– Сразу после встречи в парке... Взял да и помер, – разводил он руками.

И самое удивительное – из маленькой смежной комнаты вышла вдруг девушка, редкой одухотворенной красоты, с золотым православным крестиком на груди. Она всех – и живых и мертвых – помянула добрым словом.

...Запоздалое путешествие кончилось кружением по Москве, опять в такси, по Воробьевым горам и вниз, в ночи горели бесконечные, тревожно-теплые огни. Машина неслась, шурша, и Нина чувствовала, что Саша немного устал от этого прощания со своим отдаленным и полузабытым прошлым.

Она опять прижалась к нему, и он обнял ее за плечи – и от этого прикосновения, такого естественного, ей стало страшно и не-

обычно – ведь рядом был Саша. И они мчались так, и она вспомнила все свои загадочные встречи с ним, и в душе ее, несмотря на слабость, было ощущение, как перед прыжком в бездну.

Только одну остановку они сделали перед тем, как вернуться домой, к Саше. Это было проездом, они оказались у окна – то был серый, небольшой дом, первый низкий этаж. Саша постучал, там за окном кто-то, видимо, долго шевелился, урчал, наконец, просунулась темная большая рука со свертком – и Саша принял его. Нине показалось, что там за окном ворочалось то самое существо, – из давнего путешествия к «королю» – которое называли Николаем. Протянутая рука ее не испугала, но скорее озадачила.

– Как твой тайный человек, Сашенька? – шептала она ему потом. – Я знаю, я слышала... Зачем он здесь на земле? Если он всемогущ, и может жить, где хочет, то что ему делать тут, в этом темном подвале, зачем он воплотился среди людей? «Они» приходят порой, чтобы помочь человеческому роду, но уже все безнадежно на этой земле с людьми, все кончено, приговор подписан...

– Ну, не торопись уж так, с приговором... И не обязательно сюда приходить для их спасения; помимо них тут есть еще кое-что, скрытое, – усмехнулся Саша. – Не все вертится вокруг спасения или отпада этих существ...

И вот они очутились дома, в комнате Саши. Он зажег – по обычаю – свечи, и «чудища» на картинах по стенам заулыбались, ощерились, точно желая воплотиться – из картины в земную жизнь.

Московские звезды смотрели на них сквозь высокие окна.

– Сашенька... – сказала Нина еле слышно.

И первая их ночь любви – была для нее ласково-сказочной, неожиданной, удивительной и странной. Она вставала с постели, подходила к окну, смотрела на звезды, и ей думалось: она ли это? Ведь рядом Саша. И что значило его быстрое и полное принятие ее, и его лицо, мгновенно озаренное любовью?

Но слияние было настолько цельным, что все загадки-разгадки скоро утасли в ее уме, и она уснула.

...Проснулась она поздно утром от одной острейшей мысли, которая начала будить ее вместе с появлением на далеком небе солнца. Она присела на кровать и посмотрела на спящего Сашу.

Теперь, придя в себя, Нина быстро распознала эту мысль. Она родилась из пугающего противоречия между как будто полным и бездонным слиянием ее с Сашей и, вопреки всему, его абсолютной непроницаемостью. «Кто он?» – таков был вопрос. И обнаруженный разрыв совсем ошеломил ее. В этом слиянии со стороны Саша не было ничего «обманного», неестественного, она чувствовала это, и в то же время он был недосягаем, он был где-то «там», куда другим путем был закрыт.

Она ясно ощутила это.

И в ней возникло яростное желание во что бы то ни стало проникнуть в его сферу, войти внутрь его мира. Внезапно она замерла. В какой мир? Прежде чем войти, надо знать «куда» и «во что» – все упиралось в то, что она не знает – и никто, возможно, не знает, кто он, какова его «сфера».

Кто он? В самом последнем и в самом глубинном смысле, конечно. Ведь кое о чем она догадывалась. Но она чувствовала, что в нем есть какой-то последний уровень – и он-то абсолютно непроницаем.

Кто он?

Саша проснулся. Она чуть ли не задала ему сразу этот дикий вопрос. Он почти сорвался с ее губ. Саша, видимо, понял, что ее волнует, и на ее загадку ответил, иронически показывая на себя, на свое физическое присутствие: вот кто я. Нина рассмееялась и поцеловала его в губы.

И понеслись необычайные часы и денечки. Это было как погружение то в холод, то в жар. Нина чувствовала полную радость слияния, какая только может быть на этой земле, но в то же время Сашина «непроницаемость» и «неразгаданность» тер-

зали ее, и ей приходилось выносить полноту и лишенность одновременно. Она и познавала его, и в то же время он оставался непознанным; никогда раньше она не испытывала столько противоположных чувств – и да, и нет, все вместе.

А между тем Саша вовсе не был замкнут с ней в обычном понимании этого слова, он явно не противился возможному духовному сближению, но это еще больше подчеркивало его высшую «недоступность». Нина попыталась, однако, взять себя в руки – в конце концов, если он где-то «там», надо почтить это молчанием.

Но было нечто, помимо даже ее желания единства, что влекло ее дальше и дальше – туда, где Саша, может быть, был совсем один. Она не могла противиться стремлению знать о нем, идти к нему...

Однажды они сидели у Саши в комнате, за столом, у окошечка, выходящего в московский дворик.

– Сашенька, а то, с чем ты был связан, когда мы ездили к «королю», помнишь, уже навсегда пройденный этап? – спросила она его, утонув в кресле, так что оттуда светилась только одна ее улыбка.

– О, да, конечно. Все это позади, – быстро ответил Саша, поглядывая в окно. – Это был первый этап, оккультизм, вход в потусторонние миры. Как ни странно, он начался у меня почти в детстве, и это, надо сказать, довольно приятно, у меня тогда уже открылись возможности кое-каких контактов с тем, что обычно невидимо физическим глазом. Ничего особенного, – усмехнулся он, взглянув на ее взволнованное лицо. – Просто такие способности, бывает же дар в науке, в ремесле... Правда, сейчас это случается редко. Потом, уже в юности, у меня был учитель. Без этого нельзя. Он был настоящий, потаенный, глубинный практик, кое-что шло даже от древних русских устных традиций... Залег он на дне, скрытно, почти никто его не знал, но ко мне он выплыл, голубчик...

– Значит, практика. И тебе не было страшно?

Саша улыбнулся:

– Первое, о чем нужно позабыть в таких операциях – о страхе. Иначе будут очень и очень тяжелые последствия... К счастью, мне помогли и некоторые теоретические знания, об этом я не забывал никогда, несмотря на всю свою практику.

– Да, да, конечно, – прошептала Нина. – Я вспоминаю ваши разговоры. Страх здесь как ловушка, как капкан...

– Да, ну и кроме страха, нужно было еще кое с чем расстаться. Например, как это ни кажется забавным, с эгоизмом, с желаниями, и тому подобными вещами, которые так полезны, чтобы выжить здесь, но там действуют как бумеранг, – рассмеялся он. – Там они как раз, наоборот, губительны, и именно в смысле выживания... Самая лучшая позиция: бесстрастного наблюдателя.

– Что же тебе удалось? Поди, натворил там Бог знает что, – произнесла Нина.

– О, я «творил» весьма осторожно. Не знаю уж, что тебе рассказать. Тебя, наверное, все еще интересуется смерть?

– Увы, все еще, Сашенька...

– Ну так и быть, слушай. Ты, конечно, знаешь из древневосточных источников, что между Божественным миром и миром нашим, физическим, лежат бесчисленные промежуточные, так сказать, полуматериальные, невидимые для нас миры, если угодно, потусторонние. Каждый из них, со своими законами и своей сущностью не менее, а скорее более грандиозен, чем наша физическая Вселенная, но нас все это непосредственно не касается. То, о чем я буду говорить сейчас, – это до известной степени даже «продолжение» нашего физического мира на разных невидимых планах, то есть я буду говорить о наиболее доступных регионах астрального мира. Все они имеют свои собственные законы – и совершенно иные, чем здесь. Натурально, они заселены существами, силами, образованиями самого разного рода, о некоторых из них много говорилось более или менее аллегорически в разных легендах и мифах,

когда двери в некоторые регионы были не так плотно закрыты, как сейчас. Чаще всего все эти существа и образования антибожественного характера, в принципе они ниже человека, потому что лишены подобия Божия. Но практически высшие из них обладают невероятной мощью, энергией, властью, знаниями... Одна из их стихий – сила воли. Их «взгляд», то есть их волевое воздействие – о, не стоит об этом даже говорить...

– Брр! – проговорила Нина. – Я видела один раз слабое подобие такого взгляда во сне. Ведь сон близок по некоторым своим качествам... и в него иногда как-то вклиниваются...

– А теперь о другом. Я прошел через инициатическую смерть, или особую имитацию буквальной смерти. У меня был учитель. И если точно следовать определенным законам и тайным знаниям – ничего страшного не произойдет. И ты вернешься. Кстати, надо было научиться не испытывать никакого страха при ситуации почти абсолютного ужаса, который возникает не только из-за погружения в «неизвестное», но и в силу действия некоторых скрытых и почти неконтролируемых психических механизмов внутри человека. Я повторяю, никакого. Малейшее колебание, малейшая эмоция, не говоря уже о страхе – может привести к фатальным последствиям. Ведь тот мир как бы движим психической энергией, и она действует совсем иначе, чем здесь. Должна быть полная отрешенность среди ада...

Нина замерла. И вдруг что-то случилось в этой комнате, а может быть, в ее душе. Она тревожно взглянула на Сашу и ужаснулась; ей показалось (нет, нет, это было явно!), что он как-то весь изменился, точнее, она стала видеть его не вполне телесно. От его фигуры исходила черная, внутри себя бездонная тень, преисполненная чудовищным смыслом. Он был весь как-то окутан ею. Она не могла точно определить, что происходит, и попыталась прийти в себя: ничего страшного, дело в ней самой, в ее сознании, она слишком чувствительна. И в ту же минуту Нина опять услышала голос Саши, раздающийся

из черной глубины. Ее поразило, что направление его мыслей осталось прежним.

– Перед смертью, или между жизнью и смертью, – продолжал голос, – бывают особые моменты и подаются некоторые знаки... Для посвященных эти знаки и явления – ключ к спасению, и они знают, что делать. Но в обычных случаях после эйфории наступает роковое падение. И вот когда все оборвано, тогда картина резко меняется. Одна из сфер смерти – самая близкая к материальному миру, и пожалуй, самая мрачная и жуткая. Она полна различного рода формациями (или существами, если хочешь) чисто вампирического порядка. Так вот они попросту, переводя всю ситуацию на грубый язык, начинают «жрать» (не нашим способом, конечно). Во мраке. Они питаются определенными человеческими оболочками, то есть едят живьем отошедшего в иной мир полуматериального уже человека. Конечно, высшее: сознание, ментальный план и более тонкие оболочки они не могут затронуть – они жрут только то, что принадлежит их сфере...

Смысл этих слов настолько поразил Нину, что она как будто бы снова вернулась в состояние нормального восприятия.

– Боже мой!.. Боже мой! – вскричала она. – Я чувствую, что так и должно быть. Сжирают же здесь черви труп. А там тем более должны набрасываться! Но в трупе нет нашего «Я»! Оно – там, и его оболочки начинают пожирать. Живьем. Но неужели от этого нет спасения?

– Избежать полностью трудно – для подавляющего большинства людей. Даже для самых духовных из них, я, конечно, не имею в виду редких настоящих йогов и тому подобное, включая, естественно тех, кто нормально проходит через инициатическую смерть. Я не говорю об исключениях. Но в этом еще нет причины для трагедии, – усмехнулся Саша. – Есть вещи посерьезней. В конце концов, здесь мы сами пожираем тела; почему же этого не должны совершать потусторонние вампиры, раз они этим живут?! Какие тут могут быть претензии?

– Но неужели ничего нельзя сделать!

– Конечно, можно. Я сказал: полностью избежать трудно. Но и в обычных случаях можно смягчить, и весьма сильно: настоящая молитва, Православная церковь, при условии полной сохранности ее традиции, и даже люди: энергия их любви, особенно если знать, как ее направить. И все это именно то, чего сейчас, мягко говоря, недостает миру.

– Ужасно!

– Неприятно. Но компенсация, одним словом, есть, тем более речь-то идет лишь об одном нюансе послесмертного бытия. Дальше душа уходит, последовательно, ступенька за ступенькой, – в другие регионы, точнее, в разные состояния, и там иные проблемы. Все это очень уютно и спокойно называется в нашем Православии «мытарствами души». Неплохое название, хотя и без всякой конкретизации.

– Ничего себе!

К Нине опять возвратилось ее странное состояние. Да, да, видимый Саша – только малая часть того, чудовищного, необъятного, невидимого Саши, проекция которого мелькнула вдруг перед ее глазами. Но что-то в ней самой происходит, она как бы выходит из себя, и ее мысли становятся... чем-то другим.

– У страха глаза велики. Должна быть абсолютная отрешенность, бесстрастность и незаинтересованность в потусторонней феноменологии. И если возможно, умение управлять своей гибелью. Но это легко сказать. И кроме того: необходимо отсутствие как раз тех качеств, которые старательно развивает в человеке так называемая современная цивилизация... Короче, всего не перечить. Чтобы описать все варианты – а они разные для каждого, но хотя бы наиболее общие – потребовались бы дни и ночи.

Состояние унесенности мучило Нину: да, да, она выходит из себя, конец ее милому, родному, привычному бытию... Все рухнет... Еще немного и она не выдержит этого наплыва, сойдет с ума или с ней произойдет что-то еще похуже. Надо

взять себя в руки, вернуть эту жизнь. Отчаянным усилием воли (а может быть, по другой причине) она как будто возвратилась. С трудом встала и подошла к Саше. Увидев его в лицо (в физическое лицо), она удивилась этой нелепой полумаске, которую приходилось нести. «Но ведь и этот мир полон такого тайного значения, сам Саша говорил об этом», – подумала она совершенно опустошенно. И вдруг бросившись как в воду, прижалась к нему щекой.

– Так вот, где ты бывал. Слышишь меня... Знаю, знаю, жалость к себе обернется только худшим. Но так хочется пожалеть себя.

Саша еле заметно улыбнулся.

– Есть же высшая жалость, – прошептала она.

– Для Господа-Бога это всего лишь Игра, – произнес Саша. – Вот у Кого тебе надо малость подучиться. Но смотри: не ошибись!

Нина отпрянула, отошла. Почти нормальное состояние вновь овладело ею. Только тень виденного плыла в сознании. Но что, что стоит за Сашей?! И почему он так странно воплощен? Она о чем-то спросила его – кажется, о метафизической беспомощности современного человека. «Скажи, скажи...»

– Он беспомощен не только в духе, но во всем, что выходит за пределы узко-материального мира, а как раз иные, «промежуточные» сферы – самые решающие в плане Вселенной и жизни в ней. Но человек вообще отнюдь не бессилён, – был ответ. – Если бы современный человек знал кое-какие ключи... к тем сокровищам, которые скрыты в нем самом. Ого! Это было бы такое могущество, как раз в тех иных, важных и решающих сферах, что это удача – для него самого – необладание ими. Слава Богу, благодаря некоторым процессам эти двери захлопнулись для него. Лучше уж пребывать ему в ничтожестве, но, конечно, не в такой степени, как сейчас. А то эти ребята натворили бы со своим «всемогуществом» такого, что это закончи-

лось бы еще большей катастрофой, чем может кончиться их пресловутое «всемогущество» в природной жизни.

– Но ведь по сути человек – богоподобен, – к Нине уже полностью вернулось самообладание.

– Да, и это заложено в принципах его архетипа. Вот, например, один: воздействие на нас других сил, включая богов, то есть тех, кто принадлежит уже к высшим регионам, относительно близким к Абсолюту, целиком зависит от нашего сознания. Следовательно, мы можем контролировать и форму, и силу этого воздействия, и его направленность, и даже отрицать ее. Поэтому в сущности мы можем «управлять» ими, а не они – нами. Это своего рода божественный солипсизм в нас... В общем, при определенном уровне в этих промежуточных мирах можно стать на очень долгое, космологически долгое время, хозяином положения. К тому же, свобода: и от ига материи, и от космически краткой земной жизни, да там совсем иные категории, и другие ставки, о которых люди не могут иметь никакого представления...

Саша вдруг встал.

– И вот именно поэтому, Нинок, я покончил с этим раз и навсегда. Я порвал почти все нити. Ибо могущество может быть гораздо опаснее слабости...

– Ты не соблазнился! – вскричала она. – Ты не соблазнился!

Саша засмеялся.

– Нет, не соблазнился. Предпочел остаться в дураках. Я просто слишком много знал. А потом было вот что: начался второй этап, чистого духа и метафизики, не оккультизма. Поиск Бога и Абсолюта. Промежуточные миры и вселенные уже не интересовали меня.

– Что ж, довольно ортодоксально.

– Древние не ошибаются. Где-то я вздохнул: в чем-то Абсолют доступнее, чем океан его мистификаций. Тогда мы как раз сошлись с Кирюхой Лесневым, союзом русских мудрецов... брамины... Индия, первоисточник. Путь такой: знания,

медитация, созерцание, Бого-реализация. Иначе, отождествление себя со своим высшим Я, с внутренней божественной реальностью, и отказ от всего остального, отказ от Эго во имя высшего Я, во имя self. От разума во имя суперразума. Во имя реального, а не промежуточного бессмертия, во имя вечности по ту сторону тотального уничтожения всех миров. Ведь что такое бессмертие? Ясно, что это не просто бесконечная, по сравнению с человеческой, жизнь, какая бывает, например, у дьявола. Это – Абсолютная вечность, даже когда нет миров. Когда боги спят. Воссоединиться с божественным Ничто как с высшим состоянием, и это не исчезновение – исчезновение касается только обреченного в нас.

– Если только проникнуть...

– Иногда, – продолжал Саша, – говорят: потеря индивидуального Я при этом «соединении» с Абсолютом, вот где опасность. Это как раз смешно: наиндивидуальное, божественное содержит в себе зародыш меньшего; индивидуальное Я – только ограничение на пути к бесконечному Я. Ведь Бог не меньше своего творения. Если уж такие колебания, то подумали бы о том, что всегда можно спуститься: сверху вниз легче, чем наоборот.

Нина зачарованно посмотрела на него: почему он вдруг об этом говорит.

Саша остановился посреди комнаты, скрестив руки, и как-то пристально, и в то же время с какой-то бесконечно далекой иронией взглянул на нее:

– Все-таки путь «саморазрушения», отказа от всего, что не Бог внутри нас, – он подмигнул Нине. – И потом еще говорят: растворение в Свете... А вот здесь есть некоторые, так сказать, парадоксы.

Он вздохнул и посмотрел на свой ботинок.

– В общем, это был мой самый корректный и спокойный период.

– Как «был»! – вскричала Нина. – Разве ты и от этого ушел?! Это же финал, венец: реализация Абсолюта, Бога в самом себе, в Его последней...

– Действительно, что же может быть вне этого? Вне Бога? Вне реальности?

Саша безучастно и загадочно посмотрел на нее.

И вот тут Нину охватил странный ужас, объяснить который она была не в состоянии. Он просто вошел в нее, как предчувствие какой-то невысказанной анти-реальности, внебожественной и внечеловеческой бездны; это был как будто бы в высшей степени абстрактный и метафизический ужас, однако ее пронзила физическая дрожь. Она мгновенно поняла, что Саша действительно «ушел»; в конце концов, он не мог бы вызвать у нее такое жуткое ощущение чего-то невысказанно далекого, если бы он следовал только пути к Абсолюту; ведь то был ортодоксальный, древний, «известный» эзотерический путь; конечно, Саша осуществлял его практически, и здесь могло веять неземным дыханием; но не до такой же степени... и не такого качества. Она видела людей, идущих по этому пути Бого-реализации. Нет, нет, они – другие, чем Саша. В нем есть нечто совершенно закрытое для людей. Вот откуда эта чудовищная, полная непроницаемость, ее не могло быть, такого рода, если бы он шел проверенным индуистским путем, путем знаний и медитаций...

Вместе с тем мысль о Дьяволе, о Люцифере не возникала в ней: Саша слишком не вязался с этим. «Школьник, не понявший уроков Бога», – вспомнила она презрительные слова Саши о падшем духе, который, хотя и будучи таким «школьником», держал в своих крепких объятиях все царство мира сего.

«Нет, уж лучше он был бы от дьявола, это проще», – подумала она, и ужас не оставлял ее.

Она взглянула на Сашу: он смотрел в окно.

Вдруг он обернулся и резко подошел к ней.

– А ты у меня чувствительная девочка, – сказал он, привлекая ее к себе. – Ничего. Держись.

– Саша, Саша, кто ты?

Прошли дни. Тем временем, после всех своих «приключений» с друзьями, Олег погрузился в ожидание решающей встречи с Сашей. Всех нужных людей Саша уже видел – теперь должен быть результат, а потом, может быть, сразу: прыжок в бездну, и встреча с этим Человеком Востока. К его томлению присоединился и Боря Берков, и даже вновь появившийся грустный и влюбленный Леха Закаулов.

И в один прекрасный день Саша позвонил Олегу. Своим тихим спокойным голосом он сказал, что пришла пора, и надо бы собраться им всем вместе – у него, за Павелецким вокзалом.

...Не без непривычного, странного волнения подходили они втроем – Олег, Берков и Закаулов – к обшарпанному двухэтажному домику, где жил Саша в глубине своего стародавнего московского дворика.

– Ох, Шехерезада, сплошная Шехерезада, черт побери, – бормотал Закаулов.

Олег и Боря были в чем-то немножечко вне себя – каждый по-своему. Саша встретил их как-то смущенно и чуть-чуть грустно. Но непонятно было, «почему».

– Проходите, господа-товарищи, – простенько сказал он.

Чтобы добраться до комнаты Саши, надо было пройти через темный коридор. Наконец, дверь в комнату распахнулась, и все трое были крайне удивлены присутствием там Нины Сафроновой. Она таинственно сидела у окна, за столом, покрытым простой клеенкой, и, улыбаясь, поглядывала на друзей.

– Не смущайтесь, Олеженька, в жизни еще не то бывает, – рассмеявшись, она привстала для приветствия.

– Она прошла Ваше испытание, Саша? – поинтересовался Берков.

– И да, и нет, – усмехнулся тот. – Мы выносим ее, как говорится, за скобку. Она в особой ситуации, она – теперь со мной...

– Я всегда любила, чтобы меня выносили за скобки! – встала Нина, пожимая руку Олегу. – И тем более обожала находиться в особом положении.

– Вот как, – с почтением проговорил Олег. – Ну и ну, – он даже чуть-чуть отшатнулся, словно на Нину уже падала непостижимая тень Саши и Человека Востока. Она, правда, и сама по себе была хороша, без Саши, но теперь все трое почувствовали к ней какое-то ошеломление. Как будто стать Сашиной любовницей – значило быть в чем-то сверхъестественной.

Нина устроила необычный чай – без вина, с обилием пирожных.

– Подсластиться, подсластиться ребятам надо, – бормотала она, расставляя чашки и блюда.

Стол был расположен у стены, между двумя окнами, глядящими на дворик; в центре стола пыхтел маленький самовар.

Быстро перекинулись мнениями о последних новостях «подпольного мира», выпили по чашечке, и вдруг Саша прервал уже начавшееся было умиротворение...

Он резко сказал,

– Итак, первый этап пройден. Я не выбрал никого. Вы будете одни.

Ответом было молчание – глубокое и неожиданное. Наконец, его прервал Берков.

– И все же, Саша – почему?

Саша удивленно посмотрел на него.

– Это выяснится для вас только потом, если это «потом» наступит.

– Кто же был в кандидатах? – проговорил громко Закаулов и сам себе ответил: – Виктор Пахомов, Ларион Смолин, целое общество у Омаровых с Муромцевым во главе...

– Я могу, если угодно, выразиться негативным образом, – продолжал безучастно Саша. – Мой отбор не основывался, например, на степени, так сказать, гениальности этих людей, – он усмехнулся. – Это слишком маленькая мерка для нашего пути, и вообще немножечко не то. Дело не в их уме, талантах, гениальности, и не в их творческой сущности вообще. И даже не в предполагаемой способности к обычному посвящению. Принцип отбора пришел из совершенно далекой от всего этого сферы. Так что уж лучше почтим этот принцип молчанием.

Как ни странно, в ответ действительно воцарилось молчание, правда, несколько растерянное...

– Заодно помянем добрым словом внутри себя эти счастливые души, которые избежали Сашиного крыла, – надменно-истерически проговорила Нина, взглянув на Трепетова.

– Да, но мне почему-то показалось, что вы Муромцева-то выделили, – пробормотал Олег, позвякивая ложечкой о блюде.

– Кстати, это так, – подтвердил Саша. – Я слышал о нем давно. Но Вале надо созреть. Для больших дел. В будущем, вероятно, он пустит мощную метафизическую головку.

– А остальные? Неужели Ларион Смолин нехорош? – вставил Закаулов.

– Хорош, хорош, – успокоил его Саша. – Но он чересчур замкнут в своем психологическом круге. Ему не выйти из него. Он не готов пока даже к обычному посвящению. Озарения, конечно, могут быть и у него. Но дело вовсе не в этом.

– Давайте оставим эту дискуссию, – прервал Олег. – Мы остались одни. Тем более нас троих выбрали просто так, без всякого принципа. Так что все равно нам его не разгадать. Но что нас ждет дальше, дорогой Саша? Увидим ли мы сразу вашего Человека Востока?

– Вот это уже другой разговор, – оживился Саша. – Начнем с того, что я открою вам его настоящее имя, точнее то, с чем

он связан. Он был для вас, кажется, великим алхимиком, магом, исцелителем...

– И, наконец, Человеком Востока.

– Да. И все эти имена, кроме до некоторой степени последнего, которое я вам сам и назвал, не имеют к нему никакого отношения. Такова уж судьба молвы. В действительности человек этот связан с «последней тайной». Вы можете понимать это в меру собственной интуиции. Как угодно: последняя тайна Бога или Абсолюта; нечто, нигде не раскрытое, ни в каком Священном писании, ни в каком эзотерическом учении; можно понимать по-другому. Как угодно. Я произнес только имя: это человек «последней тайны», следовательно, не раскрытой и именно «последней», как бы окончательной, разгадки всего... Это все, что пока я могу сказать.

– Ого! – воскликнул Берков.

– Вот этого я не ожидал! – вдруг заключил Олег. – Не думаете ли вы, что это уже слишком, Саша?!

– Что значит это ваше «слишком», Олег? – спросил Саша. – Вы ожидали эликсир бессмертия, или что-нибудь в этом роде? Но эти эликсиры – из другой, более скромной оперы, хотя и затерявшейся.

– И нет, и да! – резко ответил Олег, расхаживая по комнате. Со стены на него глядели чудовища. – Да, да, я хочу бесконечно жить, потому что чувствую, что мне не хватает времени, чтобы прийти... потому что окружен мраком и не знаю, что будет и куда я иду. Саша, зачем вы издеваетесь над нами?

Он остановился посреди комнаты.

– Да, да, это насмешка, издевка, – горячо продолжал Олег. – Хорошо, – вдруг смягчился он. – Допустим, что этот, так сказать, человек действительно связан с «последней тайной» в полном смысле этого слова. Но при чем тогда мы, люди? Мы же не заметим этого, это не доступно человеческому разуму, это разорвет, уничтожит нас, в лучшем случае... Или будет звучать

для нас как страница из «Братьев Карамазовых» прозвучала бы для крысы...

– Ого! Этого я уже не ожидал, – добродушно улыбнулся Саша. – Ясно, что это не для человеческого разума. Кто же говорит о таких пустяках. Но разве человек – только человек? Кроме того, есть намек: да, человек ничтожен, и не очень высокой иерархии, но в него брошена капля... Иначе: человек может быть трансцендентен самому себе и даже трансцендентен по отношению к Абсолюту, как это ни парадоксально звучит. Такова уж особенность этих жалких тварей, хотя она почти никогда в них не раскрывается... Такую «каплю» часто «бросают» именно в ничтожное, лишненное существо, но с некоторыми скрытыми данными, конечно.

Олег замер, чуть-чуть ошеломленный. Опять возникло какое-то жутковатое молчание.

– Тогда, Саша, извините. Но вы слишком высокого о нас, людях, мнения, – пробормотал он.

– Господа! Товарищи! Еще чайку? – озаботился Саша. – Отбросим метафизику. Вопрос очень прост: я ничего никому не навязываю. Как хотите, у вас есть свободная воля. Даже после первого звонка еще можно думать. Думайте. Сейчас же дело вот в чем: второй этап. Собственно, мы уже его проходим. Ничего страшного пока не будет – в этом я ручаюсь. Еще очень далеко до того, когда занавес поднимется и пути назад будут закрыты – но вы получите предупреждение задолго до этого. А сейчас вам нечего терять. Еще даже первый звонок не звенел. Идет только предварительный отбор. И неизвестно, возьмут ли вас для дальнейшего. Итак, согласны ли вы продолжать?

– Почему же нет? – сумрачно ответил Берков.

– А вы, Олег?

– Да.

– Вы, Леша?

– Да.

– Хорошо, побеседуем лучше о чем-нибудь другом. Для отдыха. Нинок, подлей-ка кипятку из самовара! – воскликнул Саша, хлопнув в ладоши.

Нинок, в некотором трансе, начала разливать чай. Она помнила, что пар придает комнате уют.

Разговор вдруг развернулся в какую-то странную фантазмагорию. Говорил больше Саша. Иногда в его голосе был мрак. Разговор метался от одного символа к другому, от одного огня к третьему. Все были вовлечены.

Но у Олега внезапно заболело сердце новой неизвестной ему доселе тоской. Он шепнул об этом Саше.

– Это нормально, – ответил тот.

Пробили часы. Берков посмотрел на Нину: она показалась ему утонченно, как-то выделенно красивой. Точно она порвала связь со всем.

– Итак, второй этап? – спросил, наконец, Борис.

Все вдруг затихло, и только слышно было, как ветер кружил за окном.

– Да, – согласился Саша.

– Мы увидим вашего человека?

– Пока нет. Надо пройти второй этап. Тогда я скажу. Не торопитесь. Дело не в нем, а в вас.

– Я так и чувствовал последнее время, что нам его не видеть, – печально сознался Олег...

– В чем же этот второй этап?

– Мы завершим его очень просто, – ответил Саша. – Даже немного по-студенчески. Правда, с древним подтекстом. Вот вам слова: «Я, обретший бессмертие, ухожу в ночь». Напишите мне все, что вы думаете об этом, не сейчас, а потом, и бросьте свои листки в почтовый ящик. По моему адресу. Вот и все.

– Я, обретший бессмертие, ухожу в ночь, – повторил Берков.

– Бр, какие страшные слова...

– Что ж, эдакий экзамен получается, – заключил Леша.

– С одной стороны. Но где-то и анти-экзамен, – произнес Саша. – Многое как раз не зависит от содержания вашего ответа. Не ломайте особенно голову. Не старайтесь во что бы то ни стало угадать, если так можно выразиться, что я имею в виду. Лучше всего – напишите предельно искренне, что вы сами думаете об этом, не обязательно вовлекать книжные знания... Но в общем – полная свобода. Наша беседа и эти ответы – вот и весь второй этап отбора.

– Какие страшные слова... – опять повторил Берков.

– Да, и эта беседа не так уж удачна, я чувствую, – вставил Олег.

– Ничего, ничего, – отмахнулся Саша. – Беседа, ваши ответы... Но где-то все будет зависеть от того, что не содержится ни в беседе, ни в ответе. Здесь есть поле, которое вне... Оно и будет решать.

– Ваша «последняя тайна» может раздавить умы. Это уже слишком.

– Она не может раздавить ум, ибо она вне сферы ума.

– Ну и любовничек же у тебя, Нинок, – не удержался Леха. – Впрочем, кажись, по тебе...

– Кого уж Бог послал, – усмехнулась Нина.

– Вперед, вперед! – всполошился вдруг Закаулов.

– Да, но что впереди? – пробормотал Берков. – И почему мы так торопимся? Так ведь легко пропасть, сгинуть.

– Саша, а ведь на вас ответственность. По большому счету.

– Значит, все-таки боитесь, – заметил Саша. – Это нормально.

И он вздохнул. Может быть, первый раз в жизни Саша по-настоящему вздохнул. И этим вздохом закончился вечер: по какому-то неуловимому движению решено было разойтись.



Владимир Пятницкий | В саду. Портрет Рубины Арутюнян | 1962 год

Глава четырнадцатая

Вскоре по всей неконформистской Москве разнеслась радостная, хотя и, может быть, тревожная мысль: на одной частной квартире должна состояться однодневная выставка картин Глеба Луканова. Эту выставку давно готовили, откладывали, и покровители Глеба вели по поводу нее самые тончайшие переговоры. Собственно говоря, выставка получалась неофициальная. Но ходили слухи, что если все пройдет без скандала и картины не будут слишком религиозно-мистического характера, то, возможно, следующим шагом будет официальная выставка в одном из московских кафе, где уже проходили выставки подпольного авангардного искусства. Впрочем, другие утверждали, что эта выставка делается на свой страх и риск, и закулисные переговоры не успешны. Так или иначе, выставка нагрязнула, как снег на голову, и весть о ней разнеслась неожиданно, за день до открытия. Квартиру предоставлял известный профессор физических наук – она была небольшая, двухкомнатная кооперативная, и купил он ее для своего сына, недавно женившегося. Была она почти пустая – молодожены еще не успели въехать в нее. Но сами они были ценителями и поклонниками неофициального искусства, ничего и никого не боялись и были рады помочь, чем могли.

Известие это – волнующее и внезапное – настигло также и умирающего Максима Радова.

Он лежал на диване, а рядом на кресле сидел, заложив ногу за ногу, худой и одинокий, как Дон Кихот, Виктор Пахомов – у него начался период отчужденного странничества по «гостям». Обычно он жил более замкнуто.

– А я, наверное, никогда не увижу своей выставки, – медленно говорил Максим.

Лицо его исхудало и было на редкость белым, уходящим...

– И не увижу России, в которой такие выставки будут в галереях, а не на частных квартирах под надзором милиции. Ничего этого я не увижу.

Виктор ничего не ответил, только посмотрел на него своими большими синими глазами.

– Да. Но я могу это представить. Сколько лиц, сколько прекрасных лиц! – прошептал Максим.

– Прекрасные лица есть и сейчас, – вдруг заметил Виктор. – Мы увидим другое... И все равно покоя не будет ни нам, ни им...

Почему он сказал «мы», Максим не понял: как будто Виктор собирался если не умереть, то просто куда-то уйти: далеко, далеко...

Внезапно лицо Виктора исказилось, и он с мучительной болью поглядел на Максима. Редко у него бывало такое выражение – надломленное и в то же время старческое. Но потом взгляд его опять изменился, и это был уже взгляд странника, приговоренного надолго брести среди кошмаров мира сего. Возможно, там, на черном горизонте, ему виделась желанная цель – его потерянное «я», в виде награды перед смертью, может быть. Но далекий фантом этого «я», наверное, уже не был теперь после многих лет бреда, таким желанным и искомым; возможно он еле виделся во тьме, искажался, сам превращаясь в подземное чудовище...

Виктор в чем-то ощущал Максима – умирающего Максима – как своего нежнейшего брата, хотя ему был недоступен его страх... И он молчал.

Максим закрыл глаза и опять прошептал:

– Неужели ничего, ничего нельзя со мной сделать... Я хочу, хочу это видеть. И Россию, и своих друзей, и свои картины, и себя...

...Зазвенел телефон. Максим словно очнулся, услышав голос Кати Корниловой. Она сказала, что сегодня вечером к Мак-

симу хочет прийти гость. Он согласен его принять? Да. Значит, пусть ждет.

Катя имела в виду «мастера смерти», того самого человека, которого обещали прислать друзья Светланы Волгиной из православных церковных кругов.

Между тем сама Катя тоже была взволнована известием о выставке Глеба, но какой-то внутренний голос подсказал ей: не иди. И в уме она тоже решила: нет. Разрыв так разрыв. Когда-то около нее прошло целое море поклонников – и только один завлек ее сердце так, что ей до сих пор хотелось кричать как во сне, когда память о нем касалась ее сознания.

Кто встретится ей в будущем? – она даже не пыталась представить себе того, с кем хотела бы сейчас по-настоящему соединить свою жизнь. Слишком она изменилась, насмотрелась всего: и вовне, и внутри себя. Пусть будет теперь покой... Хватит с нее пока ее чудной и безобразной свиты – ее молчаливых вздыхателей, Толи Берестова, Игоря Самохина, Кости Нефедова... А сейчас надо им позвонить – Толя уже беспокоился, пойдет ли она.

И царица милостиво отпустила своих подданных...

На очень многих эта весть подействовала опьяняюще, зашевелились и оживились самые сонные, запряганные по углам. Неконформистская Москва зашумела, отмечая одного из своих лучших сынов: пьяницу, бродягу и великого художника-сказочника. Опасались только того, что народу будет слишком много, начнется столпотворение, тогда появится милиция, могут быть скандалы, и выставка будет сорвана. Поэтому и «весть» распространили всего за день до события, да и адрес давали с оглядкой. Валя Муромцев приготовился провести там целый день, чтобы заодно повидать и тех, с кем давно не виделся. Выставки были удобны в этом отношении: друзей, приятелей, просто людей по душе – у него было столько, что их не обойти было за короткое время, некоторых даже не видел месяцами. Он немного позавидовал Глебу Луканову: си-

туация с неофициальными писателями и поэтами была гораздо хуже, чем с художниками. Правда, месяц назад какой-то институт организовал все-таки чтение поэтов-неконформистов, на котором шумно выступил Леонид Терехов.

Однако одна непредвиденная история чуть было не сорвала намерение Муромцева посетить выставку. Валя довольно близко знал нелюдимого и подпольного библиофила Андрея Крупаева – слышали о нем, конечно, все, и о его библиотеке ходили легенды. Муромцев сблизился с Крупаевым – насколько с ним вообще возможно было сблизиться – во время поиска одной редкой и даже почти неизвестной книги, которая носила специальный характер и касалась некоторых видов древней русской народной магии. Эта книга «появлялась» у Крупаева, именно «появлялась» (он так и сказал), а не «была». Несмотря на это «появление», Муромцеву так и не удалось добыть ее, – и он только взглянул на нее один раз – несмотря на то, что Крупаев обещал. Но это «обещание» было таким же непонятным, как и его дружба, хотя при всей своей «нелюдимости» Крупаев плакал за водкой, жалуясь Муромцеву, что его «попортили».

Оказалось, что за эти дни разнеслась весть, что Крупаев расходится с женой: влюбился в собственную мачеху... в супругу любимого им отца – бывшего лагерника, живущего в Рязани. Муромцев вообще последнее время злился на не в меру парадоксальное поведение своего «друга»; но и его встревожил ночной звонок Андрея: «Приезжай, я уехал от Зины, живу один, приезжай завтра утром: вопрос жизни и смерти». Это «завтра утром» падало как раз на день открытия выставки. И Крупаев произнес это таким голосом, что Муромцев решил: поеду, если даже придется провести с ним весь день. Но примерно через час Крупаев позвонил опять и измученным голосом сказал, что приезжать пока не надо, хотя случилось нечто ужасное, и он дня через два опять позвонит ему и назначит встречу, и неожиданно добавил, что приготовит ему, наконец, эту книгу...

Не до выставки было и Леше Закаулову – здесь смешалось все: и реакция после вечера с Трепетовым, и любовь его к Светлане Волгиной. Из-за любви он бросил пить, проводя время в ином опьянении – встречались они редко, и Леша все более уходил в незнакомые ему ранее сферы неразделенной и загадочной любви. Ее образ настолько воплотил в себя всю красоту и нежность жизни, что все остальное поблекло и отгорело в его глазах. И даже больше: уводил этот образ его куда-то далеко, далеко, в бесценные и не от мира сего состояния, которым не было конца. И знал он, что без Светланы ничего подобного у него бы не возникло. Вспоминал Алеша и тот день, с которого все началось: как будто уже отдаленное, пламенеющее в памяти, похмельное утро, когда он вместе с Олегом и Валентином Муромцевым решил «отключиться» от тяжести мира сего и встретиться со Светланой, чтоб залить свою душу вином в присутствии ее глаз.

И теперь уж он знал: от этого ему никуда не деться.

...Но выставка все же состоялась и без Лехи Закаулова. Рано утром пустынная квартира молодоженов принимала первых гостей. По стенам золотом восходящего солнца, синевой моря, радугой, закатом осени горели небольшие картинки. С первого же взгляда они заманивали, вовлекали в себя. От них было трудно оторваться, через зрение они входили внутрь... Сам художник, Глебушка Луканов, расхаживал по паркету трезвый и праздничный. Только в маленьких глазках его сверкали напряженные и глубинные искры. Рядом с ним прохаживался хозяин квартиры, сын профессора. Звонки раздавались все чаще и чаще, и квартира наполнялась людьми... Вот появилась чета Омаровых, Демины, за ними Гена Семенов и Вика, мелькнул Олег, потом и другие: много незнакомых для Глеба лиц. Никаких инцидентов не происходило, не было видно и милиции. А к стандартному пятиэтажному дому все подходили и подходили люди.

На выставке около картин собрались группы зрителей, и молчали... Споры возникали в основном в коридоре, на кухне – и там уже было много накурено, и призрачный дым от папирос вился до потолка. Выделялась высокая фигура Сергея Потанина – с лохматой седой головой.

А у картин долго стояли те, зачарованные, точно свет от живописи вошел в их души.

Днем появились работники комсомола, из горкома.

– Смотри, Любка, им тоже нравится, – пробормотала Вера Тимофеева, обращаясь к Деминой.

– А почему бы и нет? Правда, некоторые картины уж чересчур мистические... для них...

– Ну что ж, они сами мистические.

– Да, да, им нравится.

– Но вот сделать ничего не могут, отстоять, чтобы выставка стала официальной.

– Да, как в заколдованном круге. Посмотри вот на ту картину: это же настоящее колдовство.

– Кругом магия и магия. И в искусстве, и в этой так сказать, социальной жизни...

Было удивительно, что такая относительно небольшая квартира может вместить столько людей. Многим все же приходилось уходить раньше времени, уступая место прибывающим.

Глеб в глубине души был ошарашен отсутствием Кати Корниловой, хотя этого ее отсутствия следовало ожидать. Но почти вся Катина свита была на месте... И Глебушка, забывая прежние страдания, становился центром того, что здесь происходило. Временами внезапный свет озарял его лицо. Да, да, именно он все это создал. Значит, в нем есть что-то необычайное, он есть он, и как будто вышел из тени на свет, перед миром. И душа его преисполнялась радостью, ибо он – творец. Вот оно – бессмертие, нет, нет, он не исчезнет. Он вышел из тьмы, он – вечен, и в нем есть свет.

К нему подходило много людей, расспрашивали, возражали, спорили. Старых приятелей он почему-то потерял из виду.

Средь общего гула голосов иногда в его память врезывались отдельные необычные замечания. Порой же все сливалось в единый поток.

– Глебушка, где вы, где вы? – к нему тянулись какие-то девичьи голоса.

Глеб, наконец, заметил любимое сочетание – и очень странный и вместе с тем добрый глаз: то был подпольный философ и бывший юродивый Костя Хмельков.

Опасались все-таки внезапных эксцессов. Особенно, когда мелькнули фигуры двух иностранных корреспондентов. К счастью, все обошлось благополучно. Эксцессов не было. Корреспонденты ушли. Потом появились другие лица: ученые, физики, математики, интересующиеся новым русским искусством.

Даже парень из горкома комсомола подошел к Глебу и осторожно заметил:

– Некоторые картины кажутся мне довольно мрачными. Но удивительно: я ощущаю радость даже от них. Наверное, это свойство искусства.

Понемногу заполнялась книга отзывов, которую организаторы выставки решили предложить, что было, впрочем, довольно рискованно.

Толя Демин с меланхолическим любопытством просматривал записи: большинство отчаянно одобрительных, редко недоуменных. Иногда попадались и стихи и эссе. Толя улыбался, читая самые непосредственные.

Но были и профессиональные отзывы художников – точные и хвалебные одновременно. Это немного удивило Демина: он опасался ревности. В квартире, правда, мелькнула одна скептическая физиономия, то был Ларион Смолин.

Только ближе к ночи картина изменилась: поток публики ослабел, и в квартире остались почти одни старые друзья...

Появилось вино. Сергей Потанин молча слушал стихи подпольного поэта Ловшина, покачивая головой...

В окна уже смотрело темное ночное небо. И маленькие картины на стенах оставались, как земные звезды, – такие же загадочные, но близкие и далекие одновременно. И чем больше углублялась в себя ночь, тем сюрреальней и таинственней становилось в этой квартире...

Все разбрелись по уголкам, а Глеба отозвали в сторону хозяин квартиры и его знакомый, из устроителей выставки.

А на кухне выступал заветно-пьяненький Валя Муромцев, повидавший, наконец, тех, кого не видел многие месяцы.

Посматривая на Смолина, Валя говорил:

– Вся жуть в том, что вы, Ларион, не можете найти предмет для своей любви. Вас преследует неведомая эротика, секс неизвестно к кому... Это неизвестное – не мужчина, не женщина, не человек и не дух. Оно скрыто от вас. И вы никогда не узнаете, кто это.

Лысина Лариона слегка побелела от смеха и злости, и тем не менее он как-то согласно кивал головой.

– Не думайте, что это дерево или куст. Вы никогда не поймете, к кому вас влечет... Бедный Ларион, ищите и не обряцете...

– Ха, ха, ха! – раздался надсадный хохот, из коридора в кухню вошел художник Эдик Бутов, растерзанный и с бутылкой водки. – Мы победим! Мы победим!

– Кто это мы? – поинтересовалась Вика Семенова.

– Искусство.

Ночь темнела в окне, ломаясь звездами, и Олегу слышался скрытый от людей плач – там, в небе.



Борис Свешников | Завор | 1960-1970-е годы



Жук | Без названия | Конец XX века

Глава пятнадцатая

Нина стояла у окна в комнате Саша: он ненадолго вышел. Там, на улице было пасмурно, виделось только серое небо, разгулялась непогода, щемящий ветер, казалось, проникал в самое сердце. Нина была по-своему счастлива и в то же время боль оставалась неразрешенной: кто он?

И по-прежнему непонятный ужас проникал в нее. Это было очень странное сочетание: счастье и ужас. Саша оставался в чем-то непроницаем.

Теперь она знала только, что он связан с «последней тайной». Но ничего больше. Само это слово – «последняя» – вызвало у нее скрытую дрожь. Последняя тайна – о чем? Последняя, неоткрытая никому, тайна Бога. Имеющая отношение только к Нему? Или к миру тоже? Или, может быть, эта тайна – даже вне Бога? Нечто действительно последнее, post-божественное? И перечеркивает ли она все, что известно людям о Боге и мире, даже посвященным? Саша, кажется, говорил, что это по ту сторону обычной древней традиции, по ту сторону всякого эзотеризма, высшей йоги, реализации Абсолюта или Нирваны, и обычного нормального посвящения вообще. И ни в каких книгах этого нет. А может быть, это просто высшие ступени посвящения, о которых известно в метафизике, что они недоступны человечеству в его теперешнем состоянии? Кажется, все-таки, это был намек на что-то уже связанное с Абсолютом, но, может быть, это ошибка, она просто не поняла...

Она присела к столу, в кресло, налила бокал вина, и закутавшись, закрыв глаза, погрузилась в себя, в то же время пытаясь вспомнить те обрывки слов, которые все-таки вырывались у Саша, когда она, прижимаясь к нему, спрашивала... не идет ли он к гибели.

«Погрузиться в себя» было подлинным наслаждением, но уже все время всплывали, тревожа, Сашины слова, где-то уже потерянные и смешанные с ее мыслями.

«Это тайна всех тайн... Это не касается ни жизни, ни смерти, ни Бога, ни Дьявола, ни Нирваны, ни воскресения, ни конца мира, – проносилось в ее уме, – но это отодвигает на второй план все перечисленное. Это действительно последняя тайна, и она не содержится в Интеллекте, даже Божественном, хотя «преддверие» к ней хранится там, неоткрытое... людям... Но человек может просто коснуться, и даже не «преддверия», перестав быть человеком, по особой печати, которая лежит на нем в силу его особой метафизической ситуации во Вселенной. Но сначала надо пройти обычный путь – реализацию Абсолюта... Да, да... Странно и немыслимо... Богореализация – только первый шаг... А потом – высший отказ от полноты и счастья... Лишенность... Уход в вечно-трансцендентное... Но вне Абсолюта нет никакой реальности, нет ничего... Анти-реальность. Бездна... Тайна не быть в Центре... Уход от Света, после приобретения Его... Понимание того, что на Периферии, во Тьме, не в Боге, есть нечто, никому не открытое, чего нет в Центре... Есть нечто другое, чем просто ограничения на пути к Абсолюту, от которых избавлялись по мере движения к Нему... может быть, дверь в Бездну... Инопонимание смерти... Последний занавес... И дело-то ведь не в словах...

Нина вдруг встала.

– Нет, нет, не то! – почти вскричала она в своем уме. – Я путаю, и ухожу в другом направлении. Не может быть такого ужаса, такого абсурда, как Бездна вне Абсолюта. Есть Бездна в Абсолюте, Святая Тьма, по ту сторону бытия, Божественное Ничто, но ведь не об этом же Саша говорил, это известно в обычном посвящении. Так о чем же? Неужели о таком, немыслимом как о Бездне, которой нет? Ибо ничего нет вне Абсолюта! Или: есть всемогущая сфера того, чего «нет»? Это невозможно по-

нять, это действительно вне Интеллекта. Это нам не дано, а Бог нам дан. То, что не дано, то невозможно реализовать! Анти-реализация!.. Тоска, лишенность... Нет, нет, я все путаю. Я все путаю... Вот она, разгадка: речь идет просто о последней тайне Абсолюта, по ту сторону Нирваны, в святой тьме, о некоей подоснове, последней подоснове, перечеркивающей все!.. Почему перечеркивающей?! Просто последняя тайна Бога, которую Он не раскрыл ни в каких Священных Писаниях, ни в каких эзотерических учениях. Тайна о Нем, и следовательно о нас, и о всех. Да, да, конечно, это! И может быть, где-то на Востоке, в устной, бесконечно скрытой форме есть след... Среди немногих. Кому дано то, что не дано человеку...

Да, да, я, кажется, «поняла».

Она прошлась несколько раз по комнате, взад и вперед. Бросила взгляд на книги, разбросанные на столе, в шкафу, на кровати... «Реализация Абсолюта», «Человек и его становление согласно Веданте»... Нет, нет, это великое, но все о том, что «дано». Иное, нечто странное, проявляется здесь не в книгах, а в этой комнате, в расположении предметов, нет, нет, в чем-то неуловимом, в каких-то невидимых следах, в дуновении, и изгибе; в конце концов, в том, как лежат эти перчатки. Не сказать, чтоб это было «страшно» или «зловеще» в обычном смысле этих слов, как бывает, когда остается знакомый след Князя мира сего... Но это – абсолютно непостижимо и в то же время реально в своей анти-реальности, и это убивает... И какая-то музыка...

Она опять села в кресло.

– А может быть, третье – не последняя тайна Абсолюта, а нечто неизвестное, о чем немислимо мне и гадать. Что я-то могу думать? Если этого нигде нет! Всего лишь несколько обрывочных Сашиных слов! И что меняет, если это окажется моим первым или вторым или третьим предположением! Все равно, в любом случае, суть этого за семью печатями, да и по ту

сторону всяких слов... Саша – непроницаем. И зачем, зачем мне пытаться проникнуть в то, что непостижимо, обшаривать недоползленное? Конечно, потому что я хочу знать, кто он, войти в его душу, слиться... Скучный женский эгоизм. Да еще имея в виду Сашу и его бездны! Смешно! Надо почтить молчанием и не касаться этого. Но вместе с тем я чувствую, что это у меня не только из-за отчаянного желания «слиться», а есть нечто другое, что тянет меня «туда», лишает разума... Какой-то полярный ветер захватывает меня. К тому же я боюсь за него, я патологически боюсь его гибели, ведь он посягнул на абсолютно недоползленное. Гибнут и при обычном пути... И неужели для него недостаточно того, что «дано», то есть реализации Абсолюта? Быть не иным, чем Бог, обладать бессмертием, всей полнотой бесконечного бытия, счастьем, – при последнем слове какая-то неуловимая ирония, отход вдруг скользнули по ее губам, – и можно шагнуть дальше, если уж так тянет в бездны, в Нирвану, в за-бытийный аспект Абсолюта... Неужели этого мало?.. О, Господи, о чем я говорю?.. Здесь можно говорить только на уровне парадоксального мышления...

И опять она яростно встала. Непогода за окном немного улеглась, но в небе появились какие-то странные провалы. Во всяком случае, так привиделось Нине.

– Боже мой, кто он, кто? Ведь я его люблю, как не любила никого и никогда!!

Дверь распахнулась, и на пороге стоял улыбающийся Саша.

Несколько слов, движений, и она не выдержала и опять рассказала, что ее мучает.

На этот раз Саша отнесся к этому не так издали бездонно, что пугало ее больше всего. Сейчас только изгиб перчатки на кресле навевал на нее вневременный ужас, а Сашины слова были ласковые.

– Ты хочешь войти в эту дверь? Почему ты так торопишься? Мы только начали... Но главное – ты должна быть

подготовлена. Может быть, придет время, ты увидишь и этого человека Востока, и я тут рядом, и дверь начнет чуть-чуть медленно приоткрываться. Хотя в сущности не советую я тебе всего этого...

– Хорошо, – вдруг покорно ответила она. – А как насчет Олега, Бориса и Леша...

Они сидели у окна, за столом, напротив друг друга.

– А вот с ними запутанная история получилась, – промолвил Саша.

– «Я, обретший бессмертие, уйду в ночь». Ты получил их ответ на это?

– Да, – Саша улыбнулся. – Но ничего особенного. Берков написал, что речь идет о святой тьме Абсолюта, по ту сторону бытия. Леша помянул почему-то падение человека, от Адама до наших дней, но в основном вернул что-то о возвращении адептов и святых на земной план, для помощи людям, но главным образом для успешной трансформации земли в нечто более божественное. А Олег не удержался: разрисовал Дьявола и все его дела. Очень это у него красочно получилось, хе-хе...

– И что же?

– Дело не в их ответах только. Я и так прекрасно знал, что они не подготовлены, даже теоретически, хотя надеялся получить хотя бы какие-нибудь намеки – через общение, главным образом, если можно так выразиться. Здесь речь шла о другом, о чем они и не подозревали. Если яведу их с человеком Востока, то возможен один в высшей степени необычный эксперимент, даже чудовищный...

– Чудовищный эксперимент?! Этого еще не доставало!

– О, нет, нет! Им не будет причинен «вред». Это не договор с Дьяволом и тому подобное. Контакт и эксперимент будет собственно не с ними, а с их внутренними божественными существами, которых сами они еще не знают. Сами они метафизически не будут присутствовать. Ибо они только средства, маски

этого их подлинного внутреннего существа, путешественника, так сказать. Необходимые ему, и иногда говорящие его голосом. Ведь эксперимент будет вне их ума и понимания, и их, как личностей, не будет касаться. Последствия этого эксперимента будут уходить далеко, далеко, за пределы этой жизни.

– О Саша! И все-таки это ужасно! Они же люди! И без их согласия – какие-то эксперименты! Ужас!

Это так поразило Нину, что она встала и, скрестив руки на груди, нервно, даже чуть истерически, заходила по комнате.

– Слушай, – спокойно ответил Саша, – то, что я здесь подразумеваю – вне уровня того, о чем ты говоришь. Ничего не значит, что «они» не дают согласия, ведь дело будет иметь не с «ними». Кроме того, все, что будет происходить – вне сферы вреда, зла, добра и тому подобного. Никакого зла им не причинят.

– Но значит, ты их обманывал?

– Нисколько. «Эксперимент» – это один уровень контакта, их не касающийся. Но на другом уровне, параллельно, мы хотели действительно иметь дело с ними как с личностями, и бросить несколько тайных зерен. С их согласия уже, – усмехнулся Саша. – Так что должно быть два уровня. Об одном – они не могут иметь представления, и поэтому бессмысленно им об этом говорить, он – полностью вне их достигаемости, да и тем более «эксперимент» этот по существу – не с ними. Другое дело – второй уровень. Здесь им будет все разъяснено. Так что никакого обмана нет.

– И что же? Но на втором уровне, когда речь идет о них самих, как ты говоришь, каковы будут последствия для них? К тому же ты говорил, что знал заранее, что они не подготовлены даже для этого?

– Здесь все будет сделано, как надо, со всеми предосторожностями и предупреждениями. В них будут брошены некоторые тайные зерна. Когда они взойдут – другой вопрос. Может быть, в последующих трансмиграциях души.

– Ничего себе! Один уровень – относится к вечности, другой – к трансмиграциям. Значит, эта бедная жизнь – вне игры?

– Не совсем. Она тоже будет вовлечена – в последнем случае... Но по-настоящему готовых людей и для этого второго уровня – очень трудно найти. Дело не в том, что сначала нужна реализация Абсолюта, пусть человек еще только начинает этот путь обычного посвящения, но потенциально он должен обладать и другим.

– Чем?

– Скажем так: некоторыми парадоксальными метафизическими способностями. Дам маленький намек на одну из них. Может ли человек, полностью погруженный в созерцание Бога, испытывать тоску? По чему? Ведь в Боге полнота всей реальности, включая небытийный аспект. Нет ничего закрытого для него. По чему же испытывается тоска?

– Ну и ну. Но мне их жалко. О Боже, они ведь хотят другого! Им нужен традиционный путь к Богу или к Абсолюту, хотя бы несколько верных и важных шагов в этом направлении. Они готовы к этому. Они хотят освобождения от этого ужаса нелепых сторон земной жизни. Но ты намекаешь на такое, что совершенно вне рамок всего...

Саша молчал.

– И что же ты хочешь делать? Какой твой ответ сейчас?

– Пока еще ничего не могу сказать. Мы скоро соберемся, и ты узнаешь.

Прошло несколько часов. Тьма сошла в их комнату с неба. По-отшельнически горела свеча где-то в углу. Они по-прежнему были одни, но уже во мраке. Саша отдыхал в кресле, шерстяное одеяло лежало у него на коленях, а Нина сидела рядом с ним, на полу, прижавшись к его опущенной руке. Они молчали.

Снова прежний ужас и «непроницаемость» Саши скрытой волной овладели ей. Из всех разгадок в уме горела

сильней всего та, вторая, о последней тайне Бога. Но когда тьма подкатывалась к сердцу – думалось о третьей, о полной неизвестности.

Она попыталась воссоздать внутренний смысл того, что он сказал ей, всего несколько минут назад. Слова его восставали в ее уме, как огонь, окруженный тьмой. Но чем больше она вдумывалась в них, тем скорее рушились все разгадки, объятые языками внеземного пламени, и когда они исчезали, в ум какими-то змеиными волнами входила бездонная и холодная тьма. И требовалось усилие, чтоб она отступила, и прежний маленький свет человеческого сознания вспыхивал опять.

И вдруг она сказала:

– Ты хочешь вырвать у Бога Его последнюю тайну? Ты погибнешь.

Молчание было ответом. Она не видела его лица.

– Нет, нет, больше, ты ищешь нечто, что противоречит всему, что идет против всего, что существует. Против Бога и против Дьявола. Ибо и Дьявол принадлежит реальности... Против некой основы основ.

Она говорила все это шепотом, держась за его руку...

– Ты хочешь выйти за пределы всего, что дано Богу и Его образу – человеческой душе...

И вдруг она еще сильнее сжала его руку.

– Мой бедный русский Фауст – ты погибнешь! Гибли даже те, кто посягали на несравнимо меньшее – ты знаешь об этом! Ты погибнешь, погибнешь!

И Саша вдруг ответил: его ответ раздался откуда-то из меняющейся черты.

– Ты видишь гибель только негативно, или в лучшем случае, – как шаг к новому возрождению. Так думают все, кто принадлежит к этой системе. Но в гибели есть иное начало... И принцип смерти – при некотором мастерстве – может быть окном...

– Нет, нет! Я не хочу твоей гибели! – и она прижалась к его похолодевшей руке. – Мой бедный, бедный русский Фауст! О, это уже не то слово для тебя – «Фауст»! Смешно! Это совсем другое! И кто твой Мефистофель – сам Абсолют?! Но зачем, зачем ты идешь...

– Там нет вопроса «зачем».

– Но тогда кто ты, кто – ты?

И вот наступил день, когда Саша позвонил Олегу и сказал, что поскольку второй этап из испытания пройден, надо встретиться, и он сообщит свой результат.

Леши Закаулова не оказалось под рукой: опять пропал. Договорились, что придут Олег и Берков. Саша назначил особое место встречи, одно из своих любимых. Это был дальний, одинокий, заброшенный рабочий район (в духе песни начала века: «Где-то в городе, на окраине»...), прорезанный железными дорогами, с которых часто доносились отдаленные тоскливые гудки поездов, точно зазывающих куда-то. И люди здесь на пыльных улицах как будто тоже стремились в неизвестное...

Свидание было назначено в простой рабочей столовой, расположенной в покосившемся одноэтажном сером здании. Олегу дали, конечно, адрес – сам же Саша хорошо знал эту столовую, в которую он не раз забегал в свое время выпить стакан-другой водки.

Нине здесь тоже понравилось. Они проходили с Сашей через мост, и весь район хорошо просматривался оттуда. Захватил он ее своей напоенной жизнью тоскливостью, ибо тоска эта, как, может быть, и тоска расходившихся вдаль лучей железных дорог, была напоена тайной, почти незаметной, но внутри себя бездонной и уводящей. Непонятно было только, откуда взялась эта скрытая жизнь, и что она значила? Но тот, кто мог видеть, был захвачен ею навсегда...

В столовой оказалось мало народу, и само помещение было большое, длинное, с многочисленными столами и стульями по бокам. Разные люди в ней о чем-то переговаривались, молчали и выпивали. Серый свет проливался из узких окон. От всего этого чуть-чуть веяло тем же духом – скрытым, неопределенным, потайным и великим. И каким-то образом ведущим в сокровенную жизнь.

Саша с Ниной присели у окошка, где был столик на четверых. Одинокий пьяный из глубины зала приветствовал их, подняв кружку. Появилась толстая, погруженная в себя официантка.

Ждать пришлось недолго: негаданно распахнулась дверь, и показались такие знакомые лица Олега и Беркова.

– Ну и уголок вы выбрали, Саша, – промолвил Олег, чуть недовольно. – Впрочем, неплохо.

Быстро взяли пива и обычной еды. Стеклянные граненые стаканы запотели от пивной влаги.

– Ну, это место, наверное, в вашем вкусе тоже, Ниночка, – усмехнулся Берков.

Нина прилепилась совсем к окнам, в своем ситцевом платье – волосы ее были причесаны просто, но изящно.

– Да и всем где-то должны нравиться такие места, – заметила она. – А мне и подавно.

– Она чувствует их скрытый смысл, – улыбнулся Трепетов. – Давайте грянем.

И он поднял стакан.

– За скрытую жизнь, что ли?

Все согласились выпить за это.

И потом Саша сразу перешел к делу. Его ответ своим вихрем ошеломил Олега и Бориса: все кончено, продолжения не будет, занавес не поднимется... Конец... Нина даже вздрогнула и с изумлением уставилась на Сашу. Этого не ожидала даже она.

– Но почему, почему??

– Олег, скажите честно, – Саша взглянул на него, – вы ощутили каким-то шестым чувством серьезность всей ситуации, высшую серьезность, несмотря на всю внешнюю простоту и непритязательность того, как началось??

– Да. Из-за целого ряда намеков, нет, не знаю от чего... какой-то жуткий подтекст всего этого входил в меня...

– Тогда и не спрашивайте, «почему». Надеюсь также, что не будет никаких детских обид. Вся эта история вне личных отношений. Это была бы смешная реакция... Тем более, я вас предупреждал, что будут «этапы» и после каждого из них – решение о дальнейшем.

Тем не менее возникла неприятная и напряженная обстановка. Слова запутывались и застревали. Олег, грустный, смотрел в окно.

– Давай-ка откланяемся и пойдем своей дорогой, Олег, – вдруг резко сказал Берков и встал.

Это, может быть, был самый лучший выход. Быстро, смущенно и неприязненно простились.

Саша и Нина оказались одни у столика.

– Ну что ж, остается только допить пиво, – вздохнул Саша.

Нина решила ни о чем не спрашивать его. Он ничего не сказал ей заранее. С туманно-странной улыбкой она посмотрела на него, допивающего свое пиво.

Задумчивая официантка поплелась из своего угла и опять оказалась перед глазами Нины. «Она всегда смотрит внутрь себя», – подумала Нина.

Нет, нет, ни на одну минуту в ее уме не мелькнула мысль, что Саша отказался из-за «морали»: ибо ожидался «чудовищный» метафизический эксперимент без согласия на то. Она взглядела: что-то иное заволокло его лицо и глаза, устремленные внутрь. Принял ли он такое решение сам или вместе с этим немислимимым человеком Востока? Как связать сущность этих ребят с отказом? Ведь никому не было извест-

но, кроме Саши, в чем собственно состояло «испытание». Но оно было явно отчуждено от их личности. Что же испытывалось тогда в этой крошечной тьме на грани между жизнью и смертью, которая всегда рядом? Может быть, испытывался их будущий предсмертный стон, который Саша или этот всевидящий Человек Востока могли провидеть и положить на весы? И что могло быть такого в этом последнемestone или видении? И в какие пласты души можно было бы бросить эти тайные зерна? И какая неудача постигла их предсмертный живой стон? А если, подумала Нина, то было испытание последующих транс-воплощений, заложенных внутри нас и раскрывающихся потом как зонты в согласии с Волею Небес? Или, – и тогда в ее уме появлялся воображаемый образ этого неизвестного Сашиного друга – все связывалось с первоначальными божественными прообразами души Олега, Бориса и Леша? С той божественной искрой, которая начинает свое путешествие, спускаясь во тьму? Может быть, она не выдержала Сашиного испытания? И зачем, какие еще сети и капканы заготовили для нее они – Саша и Человек Востока – для этой бедной божественной бабочки-летуни, – улыбалась Нина... В какие еще немислимые, post-божественные бездны надо заманить эту наивную и всемогущую бабочку, называемую иногда вечным огнем? Заманить так, чтобы она уже никогда не возвратилась к своему Небесному Отцу?

Счастливые, какие же они счастливички, эти двое, Олег и Борис, удалившиеся в горечи и даже злобе и воображающие, что они оказались недостаточно духовны и глубоки и, так сказать, неполноценны перед вышним.

Золотые счастливички!

«А что остается мне? – думала она. – Наверное, Саша выбрал меня одну для своего «чудовищного эксперимента». Ну и пускай. Где-то я всегда стремилась к гибели. Страшно будет расстаться только с одной – во всей этой так называемой Все-

ленной – с одной Россией. О, нет, нет, она – внутри меня, и она пребудет со мной даже после моей смерти, в вечности. Ее я никому не отдам. А божественной искры моей – прообраза Божия – мне не жалко, давно уже пора над ней маненько подшутить. А то уж больно вечная и божественная. Так и пребывает в своей полноте, блаженстве и покое, как толстый Будда. А я тут маюсь по всяким столовым и планетам, без конца и начала.

Мне даже не будет жалко, если Саша «подшутит» и надо мной, какая я есть, а не только над моей божественной искрой, с которой я еще не отождествила себя полностью.

Все равно – я его. Как это поется в народной песне: «Пускай могила меня накажет за то, что я его люблю. Но я могилы не убоюсь, кого люблю и с тем помру».

Кажется, наши женщины – в далеком прошлом – добровольно соглашались уходить в землю вместе с мужьями, как только те умирали. Но, увы, Сашу не интересуют такие мелочи, как могилы на земле, и все эти его игры папахивают другой, более жуткой и фундаментальной могилой – вневземной. А может, и нет, кто знает?»

Она взглянула на Сашу. Он обернулся к ней.

...Нет, нет, я попросту не понимаю его. Разве он – вне Света? Он же говорил, что обязательным условием этого последнего пути является «обычное» посвящение, с его целью – Богореализацией. Значит, это не против Бога, а идет куда-то еще «дальше», раз необходимо, чтоб сначала душа была вместе с Богом, как скромно говорят на Западе, или просто стала не иным, чем Бог, как говорят на Востоке. Да, конечно, он не отрицает Божественный Свет, и в этом отличие от люциферических сект. Но вместе с тем это глубинное восхищение некоей Высшей Тьмой... Нет, нет, дальше я ничего не понимаю. И вообще все путаю. Не надо ускорять события. Пусть будет, что будет. Я, слава Богу, не Гретхен, а он не Фауст, а кто-то гораздо покрепче. Правда, юмор никогда не мешает. Его можно сравнить с колобком из народной

сказки: я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и так далее... ото всех ушел колобок и катится по дороге. Так и Саша от всех ушел: и от Бога, и от дьявола, и от Традиции, и от эзотеризма, прихватив все это с собой. Но чем это кончится?

Два дня спустя Саша уносил свою любовь в пучину подмосковных лесов и городков. Они, как и раньше, ехали на электричке повидать Сашиного друга. Нина надеялась, что пока еще это не Человек Востока. Они неслись вглубь, теперь уже летом, а не зимой, как когда-то, и поезд врезывался в пространство. Было мало народу в вагоне, и жесткий стук колес то убаюкивал, то тревожил.

Я не удивлюсь, думала Нина, что этот Человек Востока в конце концов окажется Божеством, воплотившимся в человеческом теле, наподобие Кришны. Тем более Бог может быть одновременно где угодно – ни время, ни пространство, ни число – не препятствия для него. Только на этот раз приход не связан со спасением людей или возвращением им утраченной мудрости. Скорее другое. Бог приходит на страшный, ледяной, пронизанный мраком край своих Владений, за которым, может быть, почти сразу начинается обрыв, бездонная ночь вне Космоса, чтобы соприкоснуться с тем, чего нельзя «увидеть» в Центре, в Сиянии Духа, в этом бесконечном всемогущем и Самодовлеющем Центре, где пребывает Бог в Самом себе, в Своем вечном и непостижимом блаженстве...

Нет, нет, я захожу слишком далеко, это иной случай...

Или, может быть, этот Тихон Федорович как раз наоборот – человек, и последняя тайна связана не с Богом, а с Человеком?

Куда несется этот поезд, в котором мы едем? Кажется, вагон стал слишком покачиваться от огромной скорости...

Саша молчал. В окнах мелькали бесконечные, раскинувшиеся и застывшие в своем бытии и покое поля и леса, и заброшенные домики и люди среди них – от всего этого сжималось

сердце, но не только потому, что там таилось много печали, а потому, что было в них нечто иное; и это почти нельзя было выразить на обычном человеческом языке...

Нина переводила глаза на Сашу, затихшего в углу на скамье, и потом опять вглядывалась в эти картины за окном.

«Почему такие огромные пространства, – думала она. – Как это поется: в пространствах таятся пространства... Одно в другом, одно в другом, и так все дальше и дальше... Куда? Как будто ничего не меняется, одно пространство исчезает в другом, а тем не менее мы двигаемся – и во всем этом есть непонятная цель и предназначение...»

И она еще раз взглянула в окно. Даже печаль этих картин была не только печаль. Тоска приводила к скрытым откровениям. Кое-где за деревьями, в лесу мелькали церкви, и вообще чувствовалось присутствие Неба, и вместе с тем где-то оставалась и тоска...

Наконец, поезд остановился: маленький городок – заброшенный и пустынный – окружал одинокую станцию. Здесь обычно происходила пересадка: дальше надо было ехать на автобусе. Они оказались на большой пыльной при вокзальной площади.

Покосившаяся вывеска указывала на чайную. Дверь была открыта, и изнутри лились звуки заунывной, бесконечной, хватающей за сердце песни. Посреди площади лежал пьяный, но, может быть, это был просто спящий человек.

...Трепет, а потом восторг умиления охватили Нину. Кажется, они со Светланой Волгиной совсем недавно видели такую площадь, и слышали эту песню. И какая-то музыка – не то извне, не то как будто бы изнутри – захватила ее, и ей казалось, что занавес уже почти сдернут, да никакого занавеса и не было, нужно было только понять и увидеть.

Они стояли на остановке автобуса, в очереди, впереди были две женщины. Облезлый пес блуждал в стороне. И Саша

был внутренне весел и в огне. Лес вдаль на горизонте – с правой стороны был совсем открытый вид – казался входом во что-то притягивающее, тайное, но родное и вечное.

Наконец подъехал небольшой старенький автобус.

Уже смеркалось; шофер был не в меру рассеян. Кто-то лежал на темном полу автобуса, похрапывая, рядом с дырявым сидением, где разместились Саша и Нина. Две женщины уселись недалеко, за спиной водителя. Автобус, задрожав, тронулся с места, и печальные окна домов по-домашнему, уютно, огоньками провожали его в путь. Конек-горбунок на одной из крыш, казалось, срывался в небо...

Городок быстро очутился позади, и со всех сторон опять открылись леса и поля и пространства. Нина взглянула на высокое, уводящее небо, немного отраженное на земле, и поняла, что никуда не надо уходить, потому что такая загадочная жизнь распростерлась в этих лесах, полях и одиноких домиках, что она застонала.

Спускался мрак, но леса дышали привольем, и огоньки вдали мерцали во тьме. Окна автобуса были открыты (он медленно плыл), и пахло рекой. И тьма окружала огни, и далекие пространства были как песня.

Нина взглянула на Сашу: его лицо показалось ей огромным во мраке. Она стала все прикованней, но как бы незаметно, всматриваться в него и протянула ему руку, которую он взял.

И вот теперь она вдруг подумала о том, что их союз заключен навеки. И что наверное они едут к Человеку Востока. И что, может быть, Саша и есть этот Человек Востока, но, скорей всего, их все-таки двое...

И не исключено также, что ей уготовано поражение или гибель, равносильная... не «победе» (какое смешное слово), а чему-то более высшему... А может быть, ей даже не уготована гибель. И она сильнее сжала Сашину руку. Он отвечал чуть жут-

коватым, но дружеским рукопожатием. Да, в их отношениях появилось нечто большее, чем любовь...

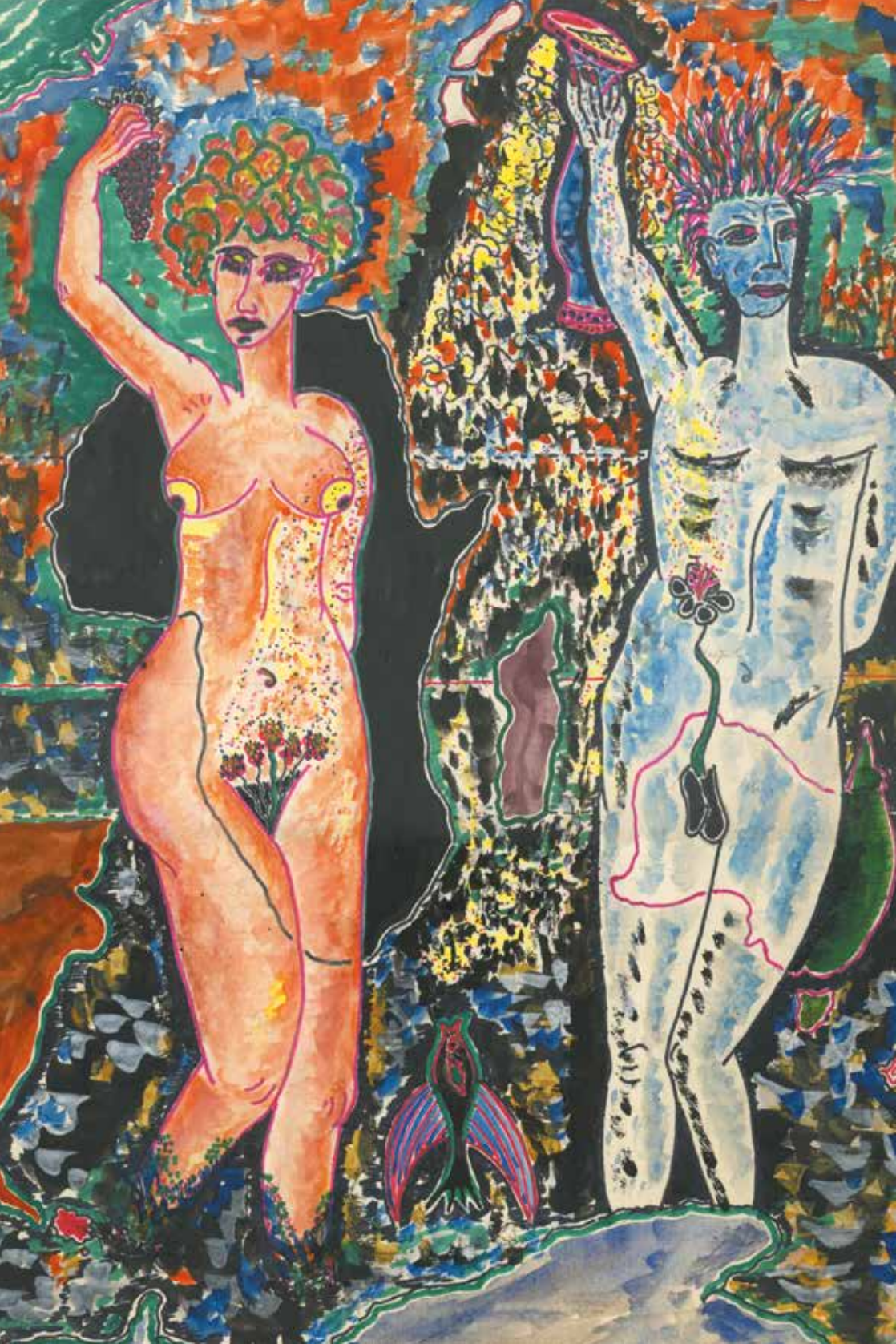
Автобус остановился. Это было их место: тусклый фонарь, темная лужайка, окруженная ровным лесом. Рядом – стволы строгих деревьев уходили в синее звездное небо, и лес тихо шумел, замирающе и неведомо. Где-то мерцали огни – значит, неподалеку было человеческое жилье. Автобус исчез, и они остались вдвоем у высокой сосны, сквозь ветви которой сияли звезды. Тьма в провалах леса была как живая.

Нина оглянулась.

– Я иду к тебе, – прошептала она.

– Глаза должны быть закрытыми, – был ответ.

И тогда невиданная нечеловеческая радость рассекла ее сознание, ставшее на мгновение тьмой.



Глава шестнадцатая

И Олег, и Берков, и Леша были в ярости. Неожиданное решение Саши все оборвать взорвало их. И дело заключалось не только в самолюбии и в ощущении того, что они не прошли «испытания» (да и непонятно было, в чем состояло это «испытание» и вообще, было ли оно). Им даже стало казаться, что над ними весьма натуральным и в то же время фантастическим образом поиздевались. И захлопнулась дверь перед самым носом. Но был в их чувствах еще и другой подтекст: как будто темная волна чего-то изглубинного и неведомого нахлынула на них при общении с Сашей. Наконец, они просто истратили много сил и нервов на все эти диковинные встречи.

– Шарлатан он чертов, и больше никто! – кричал Леша Закаулов, когда они втроем собрались у Олега. – Скорее шехерезадник, сказочник! И развел Шехерезаду – в себя не придешь! Совсем заморочил голову!

– Ерунда! Какой он сказочник! – угрюмо ответил Олег. – От его лица веет холодом ада. В сущности, нам повезло, что мы от него избавились.

– Холодом, но не ада, – возразил Берков. – И я жалею об этом разрыве, началось какое-то движение и вдруг полная остановка.

– Ничего не сделаешь. Нужен другой поворот. Значит, не судьба.

Особенно переживал Олег, впавший в гнетущую и окаянную тоску. Несколько дней он не находил себе места. К тому же все чаще и чаще творчество и упоение славой не могли предотвратить возникновения в нем странных провалов, когда со дна души поднималась черная жуть и оставалось только одно желание: спастись, найти выход из земного бытия в вечное. И все

это несмотря на то, что творчество по-прежнему оставалось единственным, что еще насыщало его...

Иногда он чувствовал даже отвращение к собственному телу, и вообще ко всем формам земного бытия. Боже мой, зачем это, зачем, думал он, зачем это жалкое тело, короткая, до нелепости, до издевки короткая жизнь, эти идиотские уши, ноги, какие-то две впадины в голове, называемые глазами, от которых зависит зрение; почему все это так жалко, эфемерно, где-то по большому счету уродливо, смешно и ненадежно. Я уже не говорю о страданиях. Не хочу, не хочу всего этого! Хочу бессмертия, свободы от материи! Хочу иметь жизнь в самом себе, а не зависеть от любой бактерии; иметь эту жизнь реально, как боги, воочию, а не шептать о ней в бессильных молитвах.

А что надо совершить, чтобы получить такое, он не знал.

В печальном настроении он оказался однажды у Белорусского вокзала. Он брел, никого не замечая, даже ни о чем не думая, устав от противоречий, но со смутным ожиданием и тревогой...

Вдруг перед его глазами возникла Катя Корнилова, одна и с сумочкой в руке.

– Вот это встреча! – воскликнул Олег. – Ты знаешь, я только сию минуту понял, что именно тебя я хотел встретить сегодня. А брел без цели.

– Ну вот, а что случилось? – улыбнулась Катя. – Ты не всегда так рад мне.

И Олег – сам не понимая, зачем он это делает – вдруг рассказал ей все: и их историю с Сашей, и то, что происходит в его душе. Они медленно шли по улице Горького к Кремлю.

Неожиданно Катя взволновалась, и с нежностью отозвалась на его призыв: «Ты знаешь, я сама об этом много думаю последнее время». – Она ласково взяла его под руку, и вдруг быстро проговорила:

– О, да, конечно, конечно, только за большие грехи можно сюда попасть. В эту земную клетку! За большие грехи!

– Это на одном уровне, – усмехнулся Олег. – А вот Саша как-то намекнул, что на другом уровне – наоборот, большая привилегия для духовного существа воплотиться в такую грязь и униженность, ибо только тогда откроется окно...

– Саша – кудесник, – прервала Катя с яростью. – А я, знаешь, чего только хочу: бытия, вечного бытия, – и она судорожно сжала его руку. – И мне кажется, я начинаю постигать... чуть-чуть... Необходимо сделать очевидным и постоянным то великое, скрытое, духовное Я в нас. Его надо ощутить во всей реальности. У меня бывают такие состояния... Спонтанные... Вдруг я чувствую, что это невиданное Я восстает во мне: о, это такая тайна, такое упоение, такое сокровище, что у меня нет слов... Все мысли и образы исчезают, лишь чистое Я, как Я в своем бытии и славе... Я равно Я... И ясно видишь: это не умрет вместе с телом, это выше тела, ума, земной личности, и это мое любимое Я! Мое! Потом, в обычном состоянии, я спрашивала об этом у Юры Валугева, ты помнишь, наверное, из круга Кирилла Леснева, союз мудрецов, проиндуисты. Он мне многое объяснил. Я не уверена была порой, что это и есть то, что они ищут. Меня теперь всегда пробирает дрожь: неужели. Хотя бы на мгновение, я открываю в себе то, что индуисты называют Богом внутри нас, Атманом, истинным Я, и это и есть цель всей Богореализации. Надо только превратить эти мгновения в постоянную жизнь внутри себя, так учат. Это самое трудное, но я рада сейчас и мгновениям. Не знаю уж, что со мной, неважно, как это называть, имеют ли это в виду брамины или нет, только скажу: это – счастье, это тайна, и это источник жизни вне этой жизни. Это сокровище, потому что я вся в каком-то ином бытии... И это мое самобытие. И это принадлежит духу, а не уму и этому миру, а потому вне изменений и разрушения.

Олег был поражен: «О, тебе можно позавидовать... Глубинный мистический опыт... Да еще спонтанный... что же будет с Учителем... А я одинок, как крыса, поющая на льдине...»

– Зайдем-ка в это кафе. Просто, чтобы присесть, – Катя махнула рукой, и вид у нее был совершенно отключенный.

– У меня даже нет денег, – ответил Олег. – Я совсем ушел во все эти дела, и одна мысль о добывании денег вызывает у меня тошноту. Сколько приходится тратить времени на этот маразм!

– У меня тоже, слава Богу, мало денег. Последнее время. Но какие-то два рубля завалились. Зайдем...

Кафе было тихое, уютное и мирное: в нем не продавали алкоголь. Они сели у полукруглого окна, сквозь которое были видны беспечные прохожие и троллейбусы.

Постепенно волна вдохновения стала сходиться с Кати. Она нервно курила и отпивала кофе из маленькой чашечки.

– Но ты не можешь постоянно быть в этом? – спросил Олег.

– Это было бы совсем иное качество. Но хотя бы я могу забегать в ту внутреннюю клетку, в то состояние, и выходить опять – в эту жизнь.

– Неплохо устроилась, – мрачно усмехнулся Олег и подмигнул ей. – Я бы согласился. Погулять, покутить, понаслаждаться здесь и потом прыгнуть в медитацию, в вечность, в созерцание! И обратно! Туда и сюда, и в эту жизнь и в вечность.

Катя расхохоталась, даже утробно, и не обиделась.

– Ну что ж, пусть будет пока и так! Вот как ты повернул! Ну и ну!

– Ах, подлая. Это уже по Достоевскому. И сладость жизни и вечность. А то вечность-то слишком абстрактна, саморазрушение, как говорят сатанисты.

– Как бы ни была она абстрактна, это реальность. И к тому же – не абстракция. Просто люди – ниже...

– А все-таки плен, исчезновение в Свете, – и Олег подмигнул ей опять. – Я шучу, конечно. Просто: кентавры мы, человечество теперешнее, вот кто мы на самом деле, кентавры... В лучшем случае.

– Ну это уж слишком, Олег. Да ты как-то сбил своим мраком мой настрой, – она отодвинула чашку кофе. – Тогда вот что я скажу тебе, дорогой. Поговорим иначе. С другого полюса: в конце концов любое бытие – благо, даже низшее. Просто бытие. Я не говорю о чистом божественном бытии, а просто о бытии твари. Любом бытии. Я это тоже чувствую. И я хочу даже этого временами. Пусть не будет выхода к Богу, пусть перевоплощения, пусть цепь страшноватых жизней где-то там, пусть бесы, пусть, как говорит поэт, «...заочно за нас решило наше прошлое, пусть тюрьма», – но я буду судорожно цепляться за любое бытие, если уж невозможно найти божественного. Такое есть даже в аду. Блаженное самобытие. Лишь бы хоть оно было, чтоб можно было осознавать себя – и этим наслаждаться.

– О, это уже ближе к делу... А еще лучше договор заключить... С этим, с рогатым, «который всегда внизу», как говорит тот же поэт.

Катя вздохнула.

– Нет, что-то ты совсем, как это сказать помягче... не весел, Олег. Вот как Саша на тебя подействовал. А ведь он сам не такой. Знаешь, что я вам всем троим – тебе, Боре и Леше – посоветую: свяжитесь-ка вы с Кириллом Лесневым! Это же такая мощная личность! И светлый!

Олег вдруг изменился в лице, просяяв.

– Это предположение! Я сам подумывал об этом. Но не знаю, как подступиться. Леснев – довольно закрыт, если я не ошибаюсь...

– Да нет! Я помогу. Я сама хотела с ним связаться, через Юру Валугева...

... Два дня спустя Олег, не выходя из своей печали, рассказал о Катином предположении Леше и Борису. Алексей наотрез отказался: «С меня хватит одного небожителя, я пойду теперь своей дорогой. Вы как хотите, а у меня начался другой полет... А если я когда-нибудь и приду к Богу по-настоящему, то, наверное, только через христианство. Я так чувствую. А пока ничего не хочу: только пребывать в этом мире, в моем новом полете».

Но Борис принял предложение. «Леснев есть Леснев, – сказал он. – Первый Брамин Республики, так сказать. Говорят, он получил инициацию от одного захавшего сюда с этой целью весьма «крепкого» индуса».

Через Юру Валуева Катя все быстро устроила.

Первое свидание должно было состояться на квартире у друга Кирилла, который, правда, уехал, но оставил Лесневу ключи. В этом месте часто собирались русские ведантисты.

Олег все еще пребывал в своей тоске и неуверенности, когда они собрались втроем – он, Борис и Катя. Тень Сашиного крыла все еще лежала на Олеге и Борисе. Олег взял с собой записку, где были начертаны те самые слова: «Я, обретший бессмертие, уйду в ночь». Катя же была бодрa; красивая, чуть пополневшая, она смотрела уверенно и прямо.

– Что вы все грустите, Олег? Ведь впереди – вечность. Ох уж мне эти поэты! – заявила она, похлопав его по плечу.

Комната, куда они пришли, казалась почти круглой, она была завалена книгами, у стен располагались диваны и рядом – добротные старинные столы. Олег не ожидал, что Леснев такой, каким он его видел. Перед ним стоял спокойный человек лет тридцати пяти с чуть кругловатым лицом, с небрежной копной русых волос, скромно одетый. Темно-карие глаза его выдавали необычную внутреннюю силу...

Сначала за чаем произошел чуть-чуть светский разговор – все-таки первая встреча. Говорили о новостях и московском подпольном мире.

Одна весть уже несколько дней тревожила Катю: что-то случилось с Максимом Радовым. Он исчез.

– Я слышал об этом, – ответил Кирилл, взглянув на Катю. – Его увезли в одно место под Москвой. Сделал это тот самый «мастер смерти», о котором вы знаете. Он один из моих ближайших друзей, но он пошел традиционным христианским путем, православным. В конце концов цель у нас одна: Бог как солнце, а лучи-пути к Нему разные... Это очень глубокий человек, и он может влиять на людей. Увез он Максима к своим... там есть и церковь. Мать Максима поехала тоже.

– А как же врачи? – спросила Катя.

– Врачи от него практически отказались. В том смысле, что спасти его невозможно. Лекарства, конечно, взяли с собой, да там и врач есть хороший, верующий, кстати. Но вообще внешняя ситуация его безнадежна. И чудес тут не будет... Его дни сочтены.

Катя словно окаменела.

– И что же?

– Будет сделано главное. И перелом в лучшую сторону уже есть, я знаю. Он будет вырван из когтей, которые уготованы ему после смерти. Трудно представить, что большее может быть сделано для него в его положении...

Воцарилось молчание. И Олег был не в ладах с самим собой. Какая-то высшая серьезность, благоговение и тишина царили в этой комнате. Возможно, здесь проводились таинственные медитации.

Все это довольно отличалось от Сашиней ауры. Не было никаких сверхзагадок. Дышать было легче и нетревожней. Все выглядело глубоким, но вместе с тем открытым. Если же были внутренние парадоксы, то не такие, которые уничтожали сознание.

Перелом в разговоре наступил тогда, когда Олег вдруг упомянул имя Саша Трепетова. Кирилл изумился и ошеломленно посмотрел на него.

- Вы его, конечно, знаете лично? – спросил Олег.
- Еще бы.

И тогда Олег начал говорить. Потом вынул записку: «Я, обретший бессмертие, ухожу в ночь», и молча показал ее Кириллу.

Лицо Леснева внезапно исказилось, как только он прочел эти слова. Трудно было понять, что выразилось на его лице в это мгновение, но Олегу показалось, что как будто пронеслась черная молния и ушла внутрь. И лицо опять стало прежним. Быстрым движением он вернул Олегу записку и спросил:

– Один момент очень важен. Была ли практика, точнее, хотя бы отдаленный намек, скажем, на, так сказать, трансфигурацию реальности?

- Нет, до этого еще не дошло.
- Значит, никаких «операций» еще не было. Вам повезло. Это крайне опасно.
- Опасно даже в теории?
- Даже теоретически. Даже намеки. Но как я понял, не было ни практики, ни теории. Только отбор... и ничего больше?
- Неужели это так опасно?
- Несоизмеримо опасней, чем любые игры с Дьяволом и адом, хотя это совсем из другой оперы.
- Что же это такое? – воскликнул Олег.

Кирилл сделал странное движение рукой, которое можно было истолковать как нежелание больше говорить об этом.

– Вы пришли сюда, как я понял из разговора с Юрой Валуевым, чтобы получить помощь, – сказал Кирилл. – Чтобы придти к Богу и понять, что такое Бог. Неужели этого недостаточно? Не ищите того, что не существует.

И опять воцарилось молчание. Но отсутствие слов как-то подходило к ауре этой комнаты. Оно было естественным и многозначительным.

Борис, наконец, прервал тишину. Он немного рассказал об их прежних исканиях. Чуть-чуть колебались от ветра улицы темные шторы у окон.

Разговор быстро выровнялся.

– Наш путь традиционен и проверен тысячелетиями, – говорил Кирилл. – Он основан на индуизме, хотя мы касаемся и других восточных метафизических течений. Это путь знаний, высшей медитации, созерцания и претворения знаний в духовную практику. Это путь Богореализации, не дуализма, когда вы входите в божественную реальность и отождествляете себя с ней. Это путь к своему Центру, к своему собственному подлинному бессмертному Я, которое скрыто и совершенно отличается от обычного человеческого сознания. Этот Центр, это высшее Я, неотличим от Бога, и есть Бог. Но он далек от человеческого эго, индивидуальности. Поэтому одним из главных принципов является умение увидеть, познать и отличить это высшее Я или self, как его называют в некоторых книгах, от эго, от временного «я». Это один из кардинальных вопросов, и вас научат, как это делать – практически. Если вы отождествите себя с вашим эго и скажете «я», то есть мое эго – есть Бог, то это чистый сатанизм, это путь дьявола-человека. Но если вы сможете отождествить себя с self, с вечным Я, и скажете Я, то есть self – есть Бог, это то же самое, что сказать Бог есть Бог... Мы идем путем метафизических знаний, их превращения в практику, путем медитации и созерцания, отсечения от себя отождествления с телом, умом и «эго»... Наша цель – полное осуществление метафизической реализации, а не только временное мгновенное или непостоянное вхождение. Это, следовательно, высшая цель, и она требует огромных усилий и дисциплины. Но по мере того, как вы будете «входить» и понимать, что это дает практически – вы будете стремиться все глубже и глубже. Если вы действительно готовы... Но вы должны сделать попытку... Я сведу вас с одним

человеком, который будет вашим непосредственным учителем и советчиком. Вы будете в его круге.

– Значит, мы не будем с Вами?

– Вы будете и со мной. Но этот человек подойдет вам больше, чем я. Вы увидите это сразу.

– Так хочется войти, войти в это!!!

– Кроме того, здесь есть много тонкостей, – продолжал, улыбнувшись, Леснев. – Например, поэт, художник вообще, имеет ряд бесспорных преимуществ, но также и негативных сторон, которые могут сильно затруднить его путь. Например, у него может быть сильно развито духовное «эго» – есть и такое, и от него еще труднее освободиться, чем от обычного. Но об этом потом. Все будет совершаться постепенно. Разумеется, полная Бого-реализация при жизни – это нечто исключительное. Но важно, пока вы здесь, на земле, хотя бы основать прочную связь с Абсолютом, как гарантом вашего бессмертия и спасения... Кроме того, человек может овладеть промежуточными реальностями разного порядка, включая необычайно высокие иерархические ступени, уже внечеловеческие. Так делают некоторые йоги: но не теряя при этом из виду главную цель – иначе это опасно. Иными словами, речь может идти о раскрытии всех потаенных, различного плана, внутренних возможностей человека. И это, конечно, не просто...

Но возвратимся немного назад. У нас вы получите знания о самоограничении, о контроле над страстями и желаниями. Рухнет миф о себе как об индивидуальности, вы соприкоснетесь со сверхрациональным, наиндивидуальным началом, и узнаете, что это не означает потерю, а наоборот, освобождение, ведущее в бесконечную жизнь, ибо индивидуальная жизнь, то есть жизнь, ограниченная какой-либо формой, только момент по пути в высшую жизнь... Вы поймете, насколько ограничен ум, как заставить его умолкнуть и что значит вступить в сферу сверхрациональную, в сферу

сверх-Разума, подлинного Божественного интуитивного Интеллекта. Разумеется, пока это только возможности, хотя несомненно у вас есть некоторые задатки, иначе бы вы не пришли сюда. В конечном счете вашим учителем может стать ваше божественное собственное высшее Я... Цель: вырваться за пределы воплощений, обрести бытие и за-бытие, которое вечно и которое не прекратится, даже когда исчезнет не только наш мир, но и все миры вообще.

– Да, картина... – пробормотал Берков.

– Но это цель. Сколько шагов вы сделаете в этой жизни в этом направлении – уже другое дело.

«Глаза, какие у него глаза, – подумал Олег. – Точно чье-то присутствие... И сама эта комната, как ладья, направленная в вечность. И такое незнакомое мне спокойствие, и... странно: глубокая доброта, даже когда Кирилл говорит резкие по сути вещи».

– И еще, – продолжал Леснев, – наш путь – это не религия. Ни от кого не требуется перемены веры – это было бы безумием. Но религия – это лишь один из вариантов связи с Богом... Наш путь к Богу, основанный на не-дуализме между Богом и миром, путь знаний и метафизической реализации, лежит в другой сфере, чем религия. Мы не поклоняемся Кришне, не берем религиозную сторону индуизма, наша сфера – его надрелигиозные аспекты, его космология, духовная йога и, в первую очередь, реализация Абсолюта. Индуизм, как известно, не только религия. И йога, в том числе высшая, – вообще не религия. Но между восточным христианством и индуизмом есть много общего. Вспомним традицию умной молитвы, безмолвия и обожения в Православии... Есть и существенные различия... Но, на мой взгляд, – это два крыла одной птицы. Здесь действует принцип дополнительности, а не взаимоисключения. Думаю, что можно сочетать Православие и путь метафизической реализации, а не выбирать что-то одно...

Наконец, у нас вы получите глубокое представление о том, в каком отношении находится Россия к Востоку, особенно к Индии, этой нашей прародине, о нашем духовном родстве...

Возникло еще несколько вопросов, ясных и темных, прорезывающих душу и уводящих... Такие же волны отрешенности и любви сопровождали ответы.

– Вам от многого нужно будет отказаться, многое трансформировать, но во имя большего, – сказал в заключение Кирилл. – Итак, мы договорились. Теперь вы вступаете в новую жизнь. Начнется работа, и нужна дисциплина, не только вдохновение...

Все встали, прощаясь.

– А как же Саша? – внезапно спросил Олег на самом пороге.

– О Саше забудьте, – еле уловимая улыбка тронула губы Кирилла. – Его как бы нет.



Владимир Пятницкий | Поэт | Начало 1960-х годов



Владимир Ковенацкий | В Ленинке | 1964 год

Эпилот

Спустя несколько дней после этой встречи у Леснева черная весть разнеслась по неофициальной Москве. Еще не затихли волнения, связанные с выставкой Глеба Луканова: оказалось, что все не так просто, и кому-то из официальных комсомольских защитников этой «полулегальной» выставки здорово попало... И вдруг известие: убит Андрей Крупаев, владелец одной из лучших подпольных библиотек в Москве. Ведется следствие...

По-особому эта весть о смерти поразила Валю Муромцева. Вспомнил недавние ночные звонки Андрея и его слова о том, что случилось нечто ужасное. Последнее вероятней всего относилось к истории любви Андрея к собственной мачехе – нежданной, ошеломляющей любви, – которая не принесла ему ничего, кроме страдания. Андрей ушел и от своей жены Зины, и от любимой мачехи, и от отца, и звонил тогда Муромцеву, словно из тьмы одиночества, – он даже переехал куда-то на край Москвы... И еще тревожило Муромцева само существование потаенной библиотеки Андрея – была ведь она не только богословской, но и много непонятных и редких книг, даже рукописей, было скрыто там, а некоторые из них расходились в разных направлениях: Крупаев был связан с черным книжным рынком чуть ли не по всему Советскому Союзу. И знал еще Муромцев, что теперь уже не достать ему ту книжечку по древней магии, которую обещал дать ему на прочтение Андрей: продавать он ее никому не хотел.

Муромцев заехал в до боли знакомый деревянный домик на Плющихе к Зине – была она подавлена, и не в слезах даже; промолвила, что убийство связано с книжным черным рынком – разного рода полууголовные посредники часто кру-

жились вокруг ценных книг. И что следствие усиленно подвигается в этом направлении. Потом она сказала, что, согласно семейным преданиям, смерть Андрея точно в этом возрасте – через месяц ему должно было исполниться тридцать семь лет – была предсказана цыганкой, когда Андрей был еще ребенком. И этот груз – потихонечку, тайно – с тех пор висел на нем, копошась иногда в сознании. Больше она ничего не хотела сообщать; нет, убийство не имеет отношения к истории его жуткой, нелепой любви; нет, все темные слухи о его библиотеке – только слухи; библиотека в сохранности, и она – законная владелица теперь; но никому никаких книг она не продаст – у нее есть свои планы относительно этого. А Андрей, мол, лежал в гробу помолодевший – царствие ему Небесное! – но строгий, очень строгий, как будто хотел оттуда выпрыгнуть и накричать. И мы все там будем, слава Богу – но без подспудного желания выпрыгивать оттуда.

Так говорила Зина, сидя у окна за чаем. В руках у нее была тряпка. Версия о книжниках-уголовниках была, по мнению Муромцева, очень близка к истине – по ряду дополнительных сведений о последних днях Андрея и о его запутанных отношениях с некоторыми мрачноватыми парнями из этого мира. Но Муромцева поразила не причина убийства, а скорее подтекст, движение невидимой кармы, дикая любовь к мачехе (для отца, бывшего лагерника, она была последней опорой), запретные странные книги, и сама полутемная провальная личность Андрея – то впадающая в истерику, то уходящая во тьму. И в глазах стоял этот ребенок, мальчик, которому цыганка предсказала по руке, что он умрет в 37 лет. И он умер. (Детскую фотографию Андрея – как раз того года, когда его увидела цыганка – Зина поставила на стол.)

...Валя был не в силах долго сидеть рядом с Зиной. Ему почему-то показалось, что смерть – совсем не то, что о ней сказано во всех традициях, а гораздо хуже... Но в каком смысле

хуже, он не мог определить и провидеть, и тогда наоборот, выплывало странное представление, что смерть – чепуха...

Беспокойный, он ушел на улицу, в московский круговорот.

Но смерть Андрея вихревым клубком прошла по душам близко знавших его и надолго оставила след.

«Улетаем... улетаем... улетаем», – шептала Верочка Тимофеева.

«Не улетим», – отвечали ей.

Даже танец Смолина уже не напоминал теперь пляску Мефистофеля, и сам Ларион основательно поблек. Валя советовал ему перейти к психоанализу мертвых.

Только бедный Глеб Луканов ничего не понимал, настолько вдруг поразило его отсутствие Кати Корниловой вокруг себя. Однако ж, к удивлению всех, он нашелся и женился на простой, редкостного добродушия, девушке, которой жаловался на свою непонятную царевну.

«Ведь кого... предпочла... Вместо меня... Кого?! Полутруп. Вот что обидно!» – кричал он.

А потом обычно то молчал, то говорил, обливаясь слезами: «Не полутруп, а душу живую, у ворот смерти стоящую! Вот кого она полюбила – не полутруп, а душу бесконечную!» И его скромная подруга утешала его.

А златокудрая царевна осталась одна – ибо хотела сейчас быть в одиночестве.

Вскоре, холодным пасмурным днем у Семеновых собралась небольшая компания друзей-неконформистов. Тени неофициальной выставки Глеба и убийства Андрея еще лежали на них. И все это приумножали различные слухи, предчувствия, настроения. А тут еще на днях шумно наскандалил все тот же неуравновешенный поэт – Леня Терехов.

За круглым столом в темной квартире Семеновых при свечах сидели хозяин с женой, Валя Муромцев, Светлана Волгина, Толя Демин с Любой и четверо начинающих...

– Возможно ли жить? – спросил один из новичков, пот, поставив бокал на стол. – После всего, что произошло в XX веке в мире.

– А я скажу: невысказано все время жить в подполье! – вдруг начала Вика Семенова. – Выставки, чтения, создание произведений – все в подполье! Когда же это кончится?! Когда?! Когда Россия будет жить нормальной жизнью?! Должен же великий народ, давший Рублева и Достоевского, и такую дивную, таинственную культуру, иметь хотя бы право на мысль, просто на мысль?! Я же не говорю об изменении политического строя, мы все здесь вне политики – я просто спрашиваю, когда наступит нормальная жизнь? Когда можно будет, например, спокойно молиться или публиковать свои стихи? Пусть они в цензуре, тем более политической. Как было в девятнадцатом веке, когда все наши великие писатели печатались дома, а не в самиздате? Невысказано, чтобы писатель, который не касается никакой политики, не имел бы возможности печататься на Родине только потому, что, например, его стиль не совсем обычен?! И так далее, и так далее! Тысячи других примеров! Когда нам возвратят право на веру и культуру?! И почему мы должны так страдать?! И как можно создать культуру, достойную нашей прошлой, если существуют такие дикие, нелепые, ничем не объяснимые ограничения?! Как можно опубликовать, например, современную вещь при таких отвратительных ограничениях, если она, предположим, на уровне Достоевского, где все закручено на парадоксах, страстях, вере, обнаженности. Это значит, у нас будет только второстепенная культура?! Это чудовищно!.. Ведь все настоящее создается в мучениях, в боли, в судорогах преувеличений, в свободе дойти до конца... а тут циркуляры!

Ее перебил Гена Семенов.

– О, Господи, да не кричи так! Я тебе скажу, когда будет нормальная жизнь. Это будет, когда свыше – те, кто отвечает за

искусство – поумнеют и освободятся от догм. Когда поймут, например, что даже от самого странного романа не будет никакого «вреда», если его издать небольшим тиражом – тем более в самиздате такая вещь циркулировала бы с большей силой... Зато этот «странный роман» может прозвучать – рано или поздно – как слава нашей культуры, как второй «Мастер и Маргарита»! Вот тогда все изменится. Будет возможно публиковать. Этот поворот должен быть сделан, ради русской культуры в конце концов!

– Ну и картину ты нарисовал! – вздохнула Светлана Волгина.

– Не дай Бог, чтоб так было! – вдруг громко сказал Муромцев.

Все ошеломленно поглядели на него.

– Удивлены? Захотелось премий, публикаций, речей, поездок, за границу?! А я скажу – все это ерунда! Ограниченная свобода, полная свобода, при цензуре, без цензуры – жалкий лепет все это! Все равно контроль – в разных формах – всюду сейчас существует. Подлинно великое искусство – при жуткой ситуации двадцатого века – может существовать только в подполье! Мы должны целовать властям руки за то, что они нас не печатают. Только в глубинном и полном подполье, при занавешенных шторах, рождается свобода познания и независимость; и даже больше – в этой уникальной ситуации, со всем ее бредом, отчаяньем и уходом от всего внешнего – может родиться действительно необычайная, невероятная литература, которой еще никогда не было на земле. Литература, достойная России! Достойная Достоевского, его стремления к крайностям – пусть она будет чудовищной, на первый взгляд!.. Из глубины последней бездны должна она выйти!.. Так родились «Мастер и Маргарита», «Котлован» Платонова, Цветаева. Но это только начало. В такой ситуации – невиданной до сих пор – должна родиться литература конца

мира – в пропасти своей доходящая до предела человеческих и нечеловеческих возможностей. Неужели вы соблазнитесь всей этой химерой и идиотизмом современного общества – всеми этими сфабрикованными знаменитостями и потоками печатной благоглупости! Ведь взамен этого – участие в невиданной культуре, создаваемой в подземелье! Где нет никаких хозяев! Где одна тьма и свобода!

Его речь возбудила всех до невероятности: некоторые повскакали с мест, кто-то кричал: «Да, да, да!» Демин покраснел и ходил взад и вперед по комнате. Кто-то истерически смеялся. Гена же Семенов сидел немного смущенный.

Поэт-новичок пытался возражать:

– Но в самиздате так много художественно неважного!

– Конечно! – холодно ответили ему. – Это есть везде, тем более при таких обстоятельствах. Мы не говорим об отходах. Пусть будет немного подлинных...

– И они уже есть! – прервала Люба Демина. – Они есть! Просто они пока не на поверхности! И мир их не знает!

– Хорошо, – спросила вдруг Вика Семенова, – но почему официальная свобода в искусстве так уж плоха, чем это может повредить?

Муромцев, казалось, не смотрел на говорящих. Его руки слегка дрожали от возбуждения.

– Да поймите же вы, что я имею в виду не столько социальную сторону, сколько психологическую и философскую, – начал он опять. – Например, человек слаб, и весь этот фимиами официоза, истеблишмент – неважно где: у нас или на Западе – неуловимо и подспудно меняет сознание. Что-то происходит, захлопывается какая-то дверца, и наступает пародия на золотой сон. Как будто бы нет: мозг писателя работает, он открывает, пишет – но вот самая потайная и невидимая дверца захлопывается. Та дверца, которая ведет в подлинную гениальность, а не в причесанную талантливость... Не то у нас, в бесконечно-

сти, в подполье: эта потайная дверца открыта. Что врывается тогда в сознание творца? То последнее, что может сделать русскую литературу сокровищем конца мира... Человек – это один из центров парадоксов, а русский человек – тем более! Вот он – источник! Я чувствую, что мы можем сказать слишком многое, слишком многое... Но пусть! Нам ли бояться дыхания Бездны? Нам ли, которые – впервые в истории – были лишены, в детстве, даже веры в Бога! Это ведь самая лучшая – и самая страшная – проверка! И что с нами было потом? Сам Бог, который внутри нас, прошел испытание абсолютной смертью, к которой Ему невозможно прикоснуться иным путем... Это чудовищно. Это должно породить взрыв. Сам Бог, который прошел в нас опыт отрицания Самого Себя, будет с нами! Он присутствует здесь... А мы, мы?! Ведь принужденные, сначала в юности, до обращения, быть «атеистами», – мы познавали свое высшее бессмертное Я как обреченное на гибель!!! Можно ли было вынести такой разрыв, такое противоречие, такое безумие??! А ведь это только одна сторона нашего пути! Кроме того, мы стоим лицом к лицу с реальностью, которая видится только при мировом распаде!

Опять все задвигались, повскакали, кто-то вдруг подошел и поцеловал Муромцеву ручку. Светлана Волгина даже чуть-чуть поклонилась ему, как будто ей так уж хотелось заглянуть в реальность, «которая видится только при мировом распаде».

Но такой восторг не мог длиться долго. И после всех криков, споров, восклицаний, ужасов – через полчаса – все как-то понемногу улеглось. Опять расселись за неизменный семеновский круглый стол, горели свечи, и темно было в углах, как в пирамидах.

– Задел, Валя, признаюсь, – усмехнулся Гена Семенов. – Конечно, слишком уж в полете... Но какая-то большая доля истины, черт возьми, в этом есть. Думаю, что прав и ты и я: если все будет благополучно, большинство пойдет тем путем, о котором говорил я, но некоторые – твоим. Одно не исключает другое.

– Но меня убивает, – сказала одна молоденькая девушка, начинающая подпольная поэтесса, – что впереди у нас много страданий.

– Сама Россия – великая страдальца и мученица, – возразила Светлана. – И мы должны разделить ее путь. Но это великая и страшная радость! Страдание и радость – неотделимы! А безнадежных ситуаций нет.

– А я вот что скажу, ребята, – возвысил голос Демин. – Уже из другой оперы. Хотя это и известно, но я все-таки повторю. Если говорить о множестве простых русских людей, которые еще не вернулись к вере, думаю, что атеизм – вот скрытая причина их внутренних страданий. Вот кому надо помочь! Русский человек не может жить без великой веры. Ему трудно перенести собственный смертный приговор. Атеизм противопоставлен русской душе, для нее он равносителен самоубийству. Он действует совершенно разрушающе на русских людей, хотя они могут и не осознавать этого. Русский человек должен во что-то верить, причем ему нужна живая вера, а не ее суррогат. Если ее нет – начинается страшное, прогрессирующее и сейчас с каждым годом опасно разрастающееся разложение всего и вся, всех основ души, и отсюда все остальное. Люди задыхаются в этой клетке. Тем более вера в земной рай пропала. Это может кончиться кошмаром, моральным разложением, бунтом, отчаянием, вечным запоем... Я так чувствую, я говорил с простыми людьми, я ощущаю их изнутри. Но нужна подлинная, великая живая вера, а не тусклое лопотание...

– Да, но как помочь?!

– И еще, – продолжал Демин, – одной веры, даже самой подлинной, мало. Нужно еще что-то – я имею в виду духовную сферу...

Муромцев быстро взглянул на Демина.

– Ах, Толя, Толя!.. Все это слишком важно. Давайте обсудим это в другой раз, в более спокойной обстановке.

- А сейчас, может быть, выпьем за Валю, – сказал поэт.
- И за Россию!
- И за русскую литературу!
- И за вечную жизнь!

Вечер закончился бурным, вдохновенным, сияющим порывом; смеялись, пели, что-то рассказывали и говорили, как всегда, но все это было пронизано лучами надежд и озарений. Только иногда они гасли, сменялись взрывами мрака и хохота. Тогда звучали шутки и анекдоты о конце мира.

Муромцев уезжал домой, упоенный. Земной мрак уже не казался ему мраком, и непонятный, таинственный, неугасающий огонь славы – его славы – жег его изнутри. Это не было слабостью, тщеславием, нет, это было странное, непреодолимое выделение себя из хаоса и стройности мира – выделение, идущее изнутри или не от мира сего. Кто же он и что ему суждено?

На горизонте горел закат, но тучи на темном небе были бледны и еле видимы. «Все мы вместе – и что будет? – и пусть этот мир стоит всегда – как парадокс – на грани невысказанного», – думал он, ужасаясь себе...

В этот же день Леша Закаулов выходил из каморки, где жил теперь Виктор Пахомов, глаза которого становились все больше и больше, а сам он неподвижней. Леша уже не пил, он вообще последнее время бросил пить, но был на грани полного забвения. Образ Светланы то падал на него с неба, то появлялся в сердце, то обвивал душу своей уходящей в века русской косой, то уводил... но куда? Или дальше, захватывающее душу пение слышалось из пространства и возникали слезы. И опять захватывало сердце от любви, добра и красоты. И странно было жить таким на земле.

В конце концов Леша почувствовал желание остановиться. Это длилось уже долго, и многое зависело от того, в какую сторону повернется очередной наплыв. И что будет в будущем. Сейчас ему нужно было чуть-чуть отойти: иначе

нельзя было оставаться на земле. Он тяжело вздохнул и поехал навестить Зину: он, как и Муромцев, хорошо знал Крупаву. Опять возник маленький деревянный домик, где жила задыхнувшаяся от горя и забот Зина. И огромная библиотека, еле вмещающаяся в комнатах. И двенадцатилетний ребенок, сын Андрея – и его крик. Этот крик и заставил Лешу на время позабыть образ Светланы. Это было как шок. Почему мальчик так кричал? Ему ведь не сказали о смерти отца? В этом крике было что-то невозможное, так плачут не от горя, а потому, что сходят с ума. Или не хотят жить.

Не слышать бы ему этого крика. Да и что значит крик ребенка в этом огромном, чудовищном мире, где звезды – проекции богов?

Леша недолго оставался в этом доме. Он вышел на улицу. «Мальчик будет спасен, спасен!» – вдруг ясная молния-мысль озарила его. Кто спасен? И что здесь значит – быть спасенным?

И внезапно потоки света стали входить в его сознание. И в этих потоках он увидел картины. То были невероятные пляшущие фигурки – «богов» или «существ» – и все они уходили далеко, далеко... Целые караваны живых «символов». Может быть, то были знаки из миров, в которых пребывала его душа до воплощения на земле. А потом свет сменился мраком – тяжелым и беспросветным. Но снова возник свет. Это было, как мигание глаз Браммы: то рождение, то смерть, то свет, то тьма. Но вдруг мрак стал живым, и в нем можно было что-то провидеть. Алеша твердо знал, что он не сошел с ума и что это не галлюцинации: ум его был холоден, и сознание оставалось прежним. Он мог контролировать себя и знал признаки: это были «видения», те самые, о которых он читал в книгах и знал из истории. Но тьма была живая, и Леша (он заметил, что спокойно сидит в саду, на одинокой скамейке) пытался проникнуть в нее. Внезапно ужас охватил его. На этот раз не перед собственной судьбой, а за то, что любимо. Что будет? Что будет? Кто сто-

ит за судьбами людей и народов и толкает их в пропасть? Кто так подшутил над людьми двадцатого века? Кто внушил им все это? И что могут сделать люди? И почему все рушится? Сможет ли выскочить из этих сетей человеческий род? И сделать мир другим? Или все безнадежно, и необратимая ночь, прерываемая кровавыми взрывами, покроет мир? Тогда лучше вмешательство Бога: конец этому миру, скорей конец всему.

Он сам не ожидал, что будет об этом думать. Ведь, если он посвятит себя Богу, он сможет уйти из этого кошмара в Вечность, во внутреннюю клетку, в Божественное Я – туда, в неземные и вечные сферы, где любые взрывы всех планет вместе взятых, не более чем чирканье спичкой или шутка ребенка. Но как же тогда то, что любишь на земле? Неужели бросить... Сердце его разрывалось между желанием Вечности и любовью... И тогда из тьмы раздался непонятный и далекий голос. В нем не было ничего зловещего. И снова возник свет. Но голос продолжал звучать. Ты ищешь вечного? И ты любишь, кроме той женщины, что-то еще здесь, в этом мире? Ты думаешь, я не знаю, «что»? Сказать?! Почему ты плачешь? Найди первообраз его, и это приведет тебя к источнику. Ничто не может быть потеряно. Запомни: то, что ты сейчас любишь – отражение того, что хранится Там, в Вечности. Но оно сокрыто от глаз смертных, и на него наброшен покров, как на сокровенную и высшую Тайну. Но если когда-нибудь после многих смертей и рождений ты станешь величайшим Учителем, ты увидишь Там, в пламени Вечности, то, что ты любишь сейчас, – и познаешь Его.

А пока ты не можешь этого сделать. Тогда по крайней мере защищай на земле то, что ты любишь...

И запомни, если то, что вы называете Россией, исчезнет с земли, этот мир станет пустыней для вас...

Голос замолк.

А потом возникла еще одна картина. То было его земное будущее, но закрытое пеленой света, и почти ничего нельзя бы-

ло различить. И он почувствовал, кто-то шепчет ему: «Ну что ж, попробуй совершить что-нибудь здесь. Сейчас твое будущее – игра возможностей и нет ничего для тебя, для твоего виденья, абсолютно предрешенного. Совершай и не ошибись».

И потом все исчезло, и только поток сияющей радости поднял его сознание куда-то вверх.

На следующий день Леша, спокойный и улыбающийся, позвонил Светлане и сказал, что хочет с ней встретиться и поговорить. О чем? Его любовью была сама Россия, особенно тайная Россия, которая открывалась порой в текстах ее, России, великих книг, в безмолвии, тишине ее великих лесов и полей, в глубинах человеческих душ, в свечении женской красоты..., наконец, в далеком, необозримом духовном небе над страной.

Было утро. Опьяняющее утро над Москвой. Но большинство людей еще спало.



Владимир Яковлев | Цветок | 1981 год

В КНИГЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ ТВОРЦОВ-ВИЗИОНЕРОВ,
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ИМЕВШИХ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ЭЗОТЕРИЧЕСКОМУ САЛОНУ

Ю.В. МАМЛЕЕВА НА ЮЖИНСКОМ.

ИДЕИ, КОТОРЫЕ ВОЛНОВАЛИ МОСКОВСКИЙ
МИСТИЧЕСКИЙ АНДЕГРАУНД 1960–1970-х ГОДОВ
И ШИРОКО ОБСУЖДАЛИСЬ ЕГО УЧАСТНИКАМИ,
НАПРЯМУЮ ВЛИЯЛИ НА ТВОРЧЕСТВО
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ АВТОРОВ.

НЕКОНФОРМИСТЫ, НЕПРИЗНАННЫЕ ХУДОЖНИКИ,
ПИСАТЕЛИ И ФИЛОСОФЫ ТЕХ ЛЕТ
ВЗАИМНО ВДОХНОВЛЯЛИ ДРУГ ДРУГА.

ПОЭТОМУ КАЖДУЮ ЖИВОПИСНУЮ РАБОТУ
УПОМЯНУТЫХ НИЖЕ КЛАССИКОВ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА – НЕЗАВИСИМО ОТ ПОВОДА,
ПОСЛУЖИВШЕГО ДЛЯ ЕЕ СОЗДАНИЯ, С ПОЛНЫМ
ОСНОВАНИЕМ МОЖНО СЧИТАТЬ ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ
К ЛИТЕРАТУРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ Ю.В. МАМЛЕЕВА.

К ТОМУ ЖЕ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ХУДОЖНИКОВ
ВЫВЕДЕНЫ В РОМАНЕ В КАЧЕСТВЕ ПЕРСОНАЖЕЙ.



Евгений Всеволодович Головин

1938–2010

Один из основателей салона на Южинском. Король метафизиков и эзотериков, герметический философ, тонкий знаток алхимической практики, эссеист, поэт, переводчик, литературовед, автор и исполнитель песен. Исследователь традиционалистских доктрин, безусловный лидер московского мистического подполья 1960–1980-х годов. Одним из первых открыл для России течение европейского традиционализма, совершенно неизвестное до него как в официальных (что естественно), так и в подпольных кругах, интересовавшихся оккультизмом и мистикой. Благодаря Головину уже с самого начала 1960-х годов такие имена, как Рене Генон, Юлиус Эвола, Титус Буркхардт, Фритьоф Шуон, Фульканелли, Канселье и другие европейские герметики, стали известны среди немногих советских людей, интересующихся эзотеризмом. Песни на тексты Головина постоянно исполняли во время своих собраний «южинские». Позднее их включили в свой репертуар Василий Шумов с группой «Центр», Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банкъ», Вячеслав Бутусов с музыкантами группы «Кино» (альбом «Звездный падл»).



Анатолий Тимофеевич Зверев

1931–1986

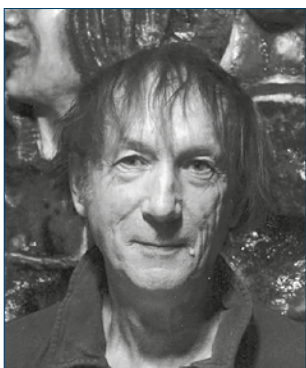
Культурный персонаж и классик советской андеграундной культуры второй половины XX века, мифический герой московской неофициальной богемы, проживший жизнь как бездомный бродяга. Разработал самобытный живописный стиль, близкий к экспрессионизму. Непревзойденный мастер рисунка и импровизации, художник уникальной творческой раскрепощенности. Его картины, созданные порой за считанные секунды, критики и коллекционеры считают шедеврами мирового искусства. Зверев хотя и бывал на Южинском, о чем свидетельствуют включенные в издание портреты, но его живопись нельзя отнести к визионерско-метафизической традиции. Он – художник целиком и полностью светский, сделавший ставку на внешние изобразительные эффекты.



Владимир Абрамович Ковенацкий

1938–1986

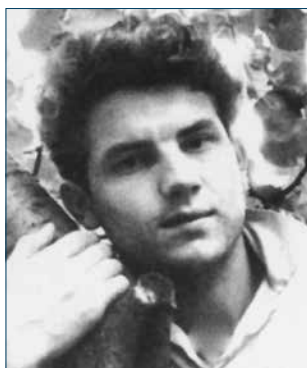
Культовый художник и поэт московского метафизического андеграунда. Один из основателей салона на Южинском. Окончил СХШ при институте имени Сурикова и художественно-графический факультет Московского полиграфического института. Для заработка много работал в области книжной иллюстрации, на студии «Диафильм». Основной иллюстратор произведений Ю.В. Мамлеева. Автор множества мистических песен, которые пели участники южинского салона. Все творчество Ковенацкого пронизано духом эзотеризма и метафизики – в их сугубо южинской интерпретации. Как писал Юрий Мамлеев, «Ковенацкий запечатлел весь хаос нашей повседневности, выделив самые болевые точки. Интуитивно он чувствовал присутствие в нашей жизни чего-то иного. Такое впечатление, как будто, например, вы просыпаетесь один в большом загородном заброшенном доме и чувствуете, что вы не один, кто-то бродит по дому, причем неизвестно кто – то ли человек (грабитель или сумасшедший), то ли невиданное животное, то ли вообще не жилец, полупривидение, полумонстр, выпавший Бог весть из каких бездн. Но ведь кто-то же бродит. Кто?»



Куку (Николай Леонидович Мануйлов)

Родился в 1934 году

Учился рисованию у Эдуарда Аусберга – представителя знаменитой мюнхенской школы Ашбе. Один из первых художников-нонконформистов, основоположников Второго искусства. Участник «раннего Южинского» (конец 1950-х – середина 1960-х годов). Начинал как художник-визионер, прочитав случайно попавший к нему в руки древний скандинавский эпос – Старшую Эдду. «В детстве меня очаровал крик кукушки, – вспоминает художник. – Я услышал его в четыре года, и понял, что я – Куку. С тех пор все стали меня звать Кукуком». Главным единомышленником Куку стала его жена – выпускница художественно-графического факультета Московского педагогического института имени В.П. Потемкина Лидия (Лика) Кириллова, писавшая картины на астрологические сюжеты. Ее тоже, как и Куку, вдохновляли идеи Ю.В. Мамлеева и его окружения. Постепенно на квартире Куку в знаменитом доме Высоцкого на Малой Грузинской улице возник филиал южинского салона, пользовавшийся огромной популярностью среди богемной элиты. Комнаты были обставлены готической мебелью, а на стенах висели мистические картины обоих супругов. Те, кто не имели возможности попасть в довольно закрытое сообщество Ю.В. Мамлеева, охотно шли к Куку, где присутствующие обсуждали практически те же темы – только в более популярном изложении. Со смертью Лики Кирилловой и отъездом их дочери Эльзы в Америку салон Куку прекратил существование.



Эдуард Степанович Курочкин

1938–2014

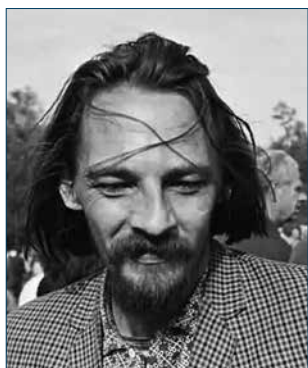
Окончил Московский текстильный институт, получив профессию художника по тканям. С конца 1950-х годов играл заметную роль в жизни столичного мистического андеграунда. Наряду с Пятницким (обоих художников связывала глубокая личная дружба) считается основателем и идеологом московского метафизического реализма в живописи. Работы Курочкина населяют отстраненные и остраненные персонажи явно потусторонней ориентации – хотя действие происходит в романтической атмосфере послевоенной Москвы. Сюжеты художника-визионера переносят зрителя в мир сна, иллюзии, фантазии, гротеска. Критики называют работы Курочкина «порталами в Зазеркалье».



Анатолий Зверев | Портрет Ларисы Пятницкой | 1986 год



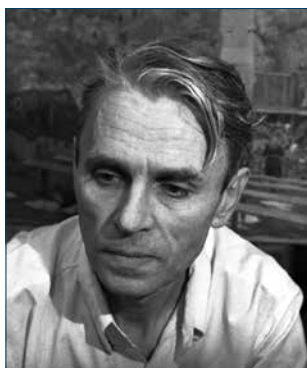
Анатолий Зверев | Портрет Владимира Пятницкого | 1983 год



Владимир Павлович Пятницкий

1938–1978

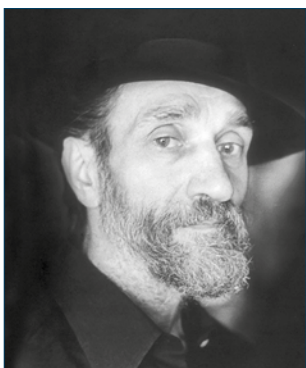
Окончил с отличием художественно-графический факультет Московского полиграфического института. С конца 1950-х годов входит в круг московских «неофициальных» художников. Оказавшись на Южинском и вдохновившись идеями окружения Ю.В. Мамлеева, начинает работать как художник-визионер. Становится одной из основополагающих фигур московского андеграунда и главным идеологом метафизического реализма в живописи. По мнению критиков, создал такое направление, как инициатическое искусство, приобщаясь к которому зритель получает посвящение в метафизическую иерархию. В каталоге к одной из его выставок сказано: «Пятницкий – не «художник», потому что нельзя же записать в «творческие работники» авторов реальных пророчеств и откровений. Он – один из крупнейших практиков солипсизма, концентратор и материализатор конкретной духовности. Персонажи, выпестованные в его ретортах, к счастью, существуют вне и независимо от чьего бы то ни было желания. И тот, кто не смог с ними подружиться, должен задуматься о реальности собственного существования».



Борис Петрович Свешников

1927–1998

Один из крупнейших и наиболее авторитетных художников-нонконформистов 1950–1980-х годов – классиков Другого искусства. Участник «раннего» Южинского (конец 50-х – середина 60-х годов). В 1946 году, во время учебы в Институте прикладного и декоративного искусства, был арестован по обвинению в «антисоветской пропаганде», отбыл восемь лет в лагерях. В 1954 году освобожден, в 1956 реабилитирован. Зарабатывал на жизнь книжными иллюстрациями. Для души, в стол создал большой цикл рисунков, посвященных лагерной жизни. После знакомства с Ю.В. Мамлеевым начал работать маслом как метафизический реалист. Зрелый период творчества Свешникова отмечен обращением к наследию Серебряного века – в частности, к черному романтизму (*le romantisme noir*). Сюжетам Свешникова, выполненным в технике пуантилизма, присущ темный (как правило, сине-фиолетовый) колорит. Автора волнует иррациональная, загадочная и полная тайн реальность, которая хотя и проявляется в знакомых очертаниях окружающей повседневности, но явно находится по ту сторону материального мира. Художник как бы отсылает зрителя к готическим романам эпохи декаданса с их прямым романтическим гротеском, где вампиры и призраки маскируются под обычных служащих, а окружающую полутьму не в силах рассеять даже самое яркое послеполуденное солнце.



Василий Яковлевич Ситников

1915–1987

Художественное образование получил, показывая диапозитивы на лекциях профессоров Художественного института имени Сурикова. Один из основателей и мэтров советского нонконформизма, классик Другого искусства. Художник, которого знала вся Москва 1960–1970-х годов. Писал в академической манере, основанной на работе с обнаженной натурой и тщательных графических растушевках, которая в его рисунках приобретала сюрреалистическо-эротические черты с привкусом «русского стиля» в духе символизма и модерна. Образ жизни Ситникова был своего рода хэппенингом, непрерывным артистическим юродством. С 1951 года начал преподавать, осуществив свою мечту о «домашней академии». Его педагогическая система включала немало эпатажных парадоксов (советы о том, как учиться тону, «растушевывая» газетные фото, или как писать пейзаж половой щеткой из корыта с красочным раствором). Со «школой Ситникова» был связан целый ряд художников, в том числе представленные в данном издании Владимир Яковлев, Александр Харитонов, Владимир Титов. Участник «раннего Южинского» (конец 50-х – середина 60-х годов), куда попал благодаря знакомству с Ю.В. Мамлеевым, чье творчество не могло не оказать влияние на мироощущение мастера.



Алексей Глебович Смирнов (фон Раух)

1937–2009

Окончил СХШ при Академии Художеств и Московский художественный институт имени Сурикова. Один из основателей салона на Южинском. Художник-нонконформист, основоположник магического символизма, теоретик искусства, поэт, публицист. Впоследствии отошел от Ю.В. Мамлеева и его окружения и сосредоточился на росписи православных храмов. Однако своему направлению в живописи оставался верен до конца дней. «Магический символизм или, точнее, мистицизм магических символов, – писал Смирнов, – единственная сознательная духовная реальность. Все современные тенденции европейского искусства – от футуризма до кубизма, от фовизма, натурализма, сюрреализма до конкретного и объективного искусства – быстро сменились или даже истощились. И только магический символизм может удовлетворить русскую душу. Мы прямые наследники Греции, византийского и крымско-скифского искусства. Наши мифы еще реальны и не покрылись коркой современной цивилизации. В нашем видении мира мы все – скифы. Как скифы украшали колчан или щит магическими знаками, так и мы «татуируем» себя знаками нашей магии. Речь идет о психофизическом действии, которое не имеет связи с чистой гибкой мыслью. Магия символов всемогуща. Даже Пушкин был символистом, но самым великим и последним был Блок. В характере русского народа возносить любую русскую конкретность на уровень символов. Мы все – маги, которые раскладывают символы своей смерти».



Владимир Александрович Титов

Родился в 1950 году

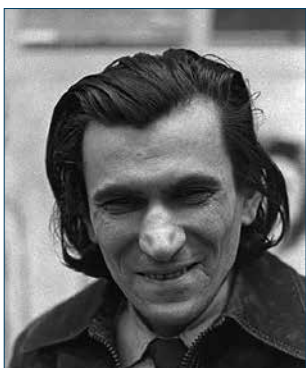
Учился в школе живописи легендарного художника-нон-конформиста Василия Яковлевича Ситникова. Участник «позднего Южинского» (1965–1968). «Титов, – писал Юрий Мамлеев, – художник-сюрреалист, хотя на первый взгляд может показаться, что наоборот – он скорее «натуралист», причем в самом жестком и беспощадном смысле слова. Аналогию можно провести со знаменитой французской «натуральной школой» великого мастера Эмиля Золя (взять хотя бы его роман «Человек-зверь» и ему подобные). Золя ведь обычно изображал человека в наиболее отталкивающем виде, с самой низкой и чудовищно грязной стороны. Получилось более чем реалистично. Творчество же Титова представляет совершенно иной вариант – ведь его дикие мрачные фигуры, решенные в черно-красном колорите, на самом деле мало напоминают реальных людей. Поэтому его нельзя назвать натуралистом – здесь по воле художника происходит некий сюрреалистический сдвиг, и вместо людей возникают их черные тени, жуткие астральные двойники».



Александр Васильевич Харитонов

1932–1993

Профессионального художественного образования не получил. Работал маляром и истопником в зоопарке. Занимался самообразованием, часами простаивая в Третьяковской галерее перед иконами и Саврасовым. «Моя живопись, – писал в конце жизни Харитонов, – основана на византийской и древнерусской иконописи и церковной вышивке жемчугом и бисером. Моими учителями были Достоевский, Гоголь, Саврасов, Флоренский и Моцарт». С конца 1950-х по конец 1960-х годов был активным участником салона Ю.В. Мамлеева. С начала 1970-х целиком посвятил себя живописи. В числе знаменитой «десятки» московских художников-нонконформистов вошел в историю как один из отцов-основателей и классиков Другого искусства. Для раннего, южинского периода творчества характерны сюжеты, навеянные романтикой средневековых «рыцарских» легенд, перенесенных на русскую почву. В дальнейшем ограничил себя размышлениями на темы ортодоксального православия. Постепенно выработал собственную манеру письма – «кропотливую рукодельную сделанность». Его холсты, покрытые тончайшими пуантилистскими касаниями кистью, действительно напоминают вышивку бисером.



Владимир Игоревич Яковлев

1934–1998

Один из первых художников-нонконформистов, классик Другого искусства. Внук живописца Михаила Яковлева – одного из основателей русского импрессионизма. Инвалид с детства (задержка в росте, проблемы со зрением). С 10 лет периодически лечился в психиатрических больницах. Работал курьером, хранителем фототеки, ретушером в издательстве «Искусство», где самостоятельно изучал историю живописи, пользуясь богатейшим библиотечным фондом издательства. Учился рисованию в школе знаменитого Василия Яковлевича Ситникова. Дружил с участниками салона на Южинском, посещал их собрания. Хотя метафизика не оказала заметного влияния на творчество Яковлева, тем не менее эзотерики 60-х – 70-х годов считают его «своим» художником. Видимо, людей духа подкупает загадочность и драматичность внешне незатейливых сюжетов и в первую очередь способность автора убедительно передать чувство боли за окружающую реальность.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Евгений Головин	
Поиск андрогина	248
Реальность, 1970-е годы	26
Энигма, 1979 год	75
Анатолий Зверев	
Портрет Владимира Пятницкого, 1983 год	283
Портрет Ларисы Пятницкой, 1986 год	282
Владимир Ковенацкий	
Бочколёт, 1977 год	25
В Ленинке, 1964 год	262
В Мастерской, 1967 год	66
Домино, 1975 год	172
Кук (Николай Леонидович Мануйлов)	
Без названия, конец XX века	230
Воссоздание сознанием, 1978 год	96
За столом, 1962 год	159
Эдуард Курочкин	
Уличная сцена, 1969 год	160
Владимир Пятницкий	
В саду. Портрет Рубины Арутюнян, 1962 год	220
Всемирный потоп, 1960–70-е годы	12
Кем ты хочешь стать?	52
На даче, начало 1960-х годов	146
Поэт, начало 1960-х годов	261
Утро, начало 1960-х годов	40
Борис Свешников	
Забор, 1960–1970-е годы	229
Обед и ужин	41
Темное устье, 1986 год	95
Василий Ситников	
Обнаженная, 1958–1961 годы	126
Алексей Смирнов	
Семья, 1960 год	76
Владимир Титов	
Пивная, 1977 год	196
Александр Харитонов	
Радуга, 1960-е годы	114
Владимир Яковлев	
Цветок, 1981 год	275

ОБЛОЖКА: Владимир Пятницкий. «Трамвайная линия»

ФОРЗАЦ: Эдуард Курочкин. «Взгляд в будущее» (фрагмент)



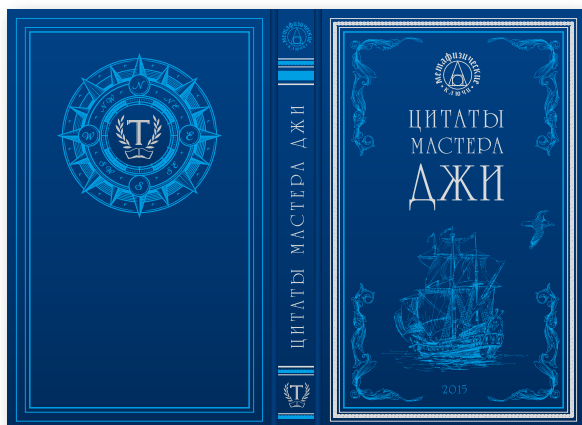
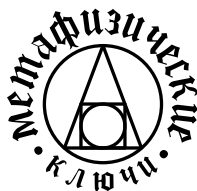
Встречайте персонажей романа «Московский гамбит»
на страницах книги Константина Сереброва

Один шаг в Зазеркалье Мистический андеграунд

Книги «Один шаг в Зазеркалье» и «Мистический андеграунд» – это попытка выразить в литературной форме идеи Внутреннего Пути, принадлежащие Русской Герметической Школе. Она знакомит читателя со скрытыми измерениями жизни странствующего Мастера, увиденными глазами ученика. Чтобы реализовать мечту о познании высшей природы человеческого «Я», неопиту приходится оставить привычный образ жизни и принять участие в непонятной и загадочной миссии Мастера.

Внутренняя жизнь охотников за неведомым протекает на тонких планах, раскрывающихся время от времени в необычных приключениях, в острых, связанных с риском не только для тела, но и для души, обстоятельствах. Мистериальный импульс, воспринятый наиболее утонченными душами и преломленный ими в виде странных произведений искусства и необычного образа жизни, был малоизвестен и непонятен не только обычным людям, но и многим представителям самого андеграунда.

Живой, непосредственный язык книги позволит углубить внутреннее развитие самому широкому кругу читателей.



Цитаты Мастера Джи

Владимир Степанов, без сомнения, был одним из самых глубоких, озаренных людей, которые встречались на моем пути. Его глубина и экстраординарность состояли в его способности к метафизике и духовной практике в подлинном традиционалистском смысле этого слова. Это случается крайне редко.

Ю.В. Мамлеев

Мастер Джи не любил писать книги. Он говорил, что книга – это мертвая вещь и всегда лучше работать над живыми людьми – ведь каждый человек является неразгаданной Вселенной и поэтому он уже интересен. Хотя он давал учение незаметно, на его идеях выросло большое количество последователей.

В его устно произнесенных высказываниях и наставлениях, составивших данный сборник, даже после литературной обработки улавливается особый ветер – импульс живой Традиции. И ту же атмосферу можно ощутить в комментариях Мастера Джи к старинным алхимическим гравюрам, составившим иллюстрации к этому сборнику.

Книга «Цитаты Мастера Джи» вдохновит читателей, задумывающихся о трансформации человеческой души и стремящихся к поискам внутреннего золота.

Юрий Мамлеев
Невиданная Быль
СТИХИ И ПРОЗА



Мир исчезнет... Был он или не был?
Но из уст Кого-не-знал-никто
Потечёт Невиданная Небыль,
И узнает каждый, кто есть кто.

Юрий Мамлеев

Сборник «Невиданная Быль. Стихи и проза» открывает перед нами новые творческие грани Юрия Витальевича Мамлеева. Известный философ и писатель в этом сборнике предстает как автор поэтических произведений. В своей неповторимой творческой манере он рисует образы «потустороннего», странным образом проявленного в нашем мире.

Сборник состоит из пяти частей, пяти тем. Каждый раздел открывается текстом – рассказом, романом, эссе – за которым следует блок стихов, написанных как бы от лица героев предваряющих литературных произведений. Темы представлены самые разные: истории обитателей запредельных сфер, изоциренные философские и метафизические размышления, стихи о России... На фоне безысходной тоски «нездешних тварей», в контексте гротескных пейзажей обыденной жизни, в раскатах дикого хохота проявляется неустанный внутренний поиск духовной свободы.



ТриПтиХ

СОЕДИНЯЯ ТРАДИЦИИ

ТРИ порождает ЕДИНИЦУ.
ЧЕТЫРЕ обновляет БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
СЕМЬ вместо ДВЕНАДЦАТИ.

Блуждающие во тьме вечного сна!

Им
не известен
Принцип Великого Перехода!

Три чуда
и Центр в треугольнике центров, –
им не помогут.

Другие,
Увлажнённые Солнцем,
остерегаются физического в материальном.

Они
правят из Огня
и наслаждаются тайным союзом.

Они
узреют
Единый лик,
отраженный во многих зеркалах!

Юрий Витальевич Мамлеев
Московский гамбит
РОМАН



ИЗДАТЕЛЬ
Андрей Суворов

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
Тенгиз Тарташвили

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Андрей Степанов
ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК
Евгения Бубер

КОНСУЛЬТАНТ ПО ЭПОХЕ
Игорь Дудинский

ISBN 978-5-9905747-5-5

Печать офсетная.
Первый тираж 1001 экземпляр.

Отпечатано в типографии
ООО «ДМ-Буквэй», Москва

Играйте Московский Гамбит на сайте
www.gambit.moscow



ТРАДИЦИЯ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА